

Владимир Набоков

ИСТИННАЯ ЖИЗНЬ СЕБАСТЬЯНА НАЙТА{1}

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Себастьян Найт родился 31 декабря 1899 года в бывшей столице моего отечества. Одна старая русская дама, просившая, неизвестно почему, не оглашать ее имени, показала мне однажды в Париже дневник, который вела в былые времена. Может показаться, что те годы настолько были не отмечены событиями, что коллекционирование ежедневных мелочей (жалкий способ самосбережения) едва заходило далее краткого описания погоды; забавно, что и дневники монархов – какие бы бедствия ни сотрясали подвластные им страны – освещают по преимуществу тот же вопрос. Фортуна, которая не терпит подсказок, сама положила передо мной нечто такое, чего никогда не дадут никакие целенаправленные поиски. Вот почему я могу утверждать, что в то утро, когда родился Себастьян, стояла ясная, безветренная погода, с морозцем в двенадцать градусов по Реомюру... но это и все, что нашла нужным занести в дневник славная дама. Подумав еще раз, не вижу никакой нужды сберегать ее анонимность. Очень уж невероятно, что она когда-нибудь прочтет эту книгу. Даму звали – и зовут – Ольга Олеговна Орлова – жаль было бы потерять эту оологическую аллитерацию{2}.

Ее сухой отчет не передаст читателю, если только он не завзятый вояжер, тех радостей, что стоят за подобным описанием петербургского зимнего дня: роскошную чистоту безоблачного неба, предназначенную здесь не для согревания плоти, но для услаждения взора; глянец санных следов на утоптанном снегу просторных проспектов, подкрашенном посередине щедрой примесью навоза; разноцветную гроздь воздушных шаров над головой уличного торговца в фартуке; золото вкрадчиво изгибающегося купола, затуманенное буйным цветением изморози; на березах в общественном саду каждая тончайшая веточка обвешана белым; скрипы и колокольцы зимней улицы... а кстати, как забавно вдруг заметить, глядя на старую открытку (вроде той, что я поставил у себя на столе, чтобы потешилось немножко дитя памяти), как беспорядочно поворачивали русские экипажи – где, когда и как им вздумается, так что вместо застенчивого, по струнке, уличного движения наших дней видишь на этом раскрашенном снимке безбрежный, словно сон, проспект, дрожжи, замершие под причудливыми углами, и надо всем – неправдоподобную голубизну, которая, чуть дальше, уже зарделась румянцем мнемонической пошлости.

Я не сумел раздобыть фотографию дома, где родился Себастьян, мне, впрочем, хорошо знакомого, поскольку и я там же родился шесть лет спустя. Вскоре после развода с матерью Себастьяна наш с ним отец женился вторично. Как ни странно, вышедшая в 1936 году «Трагедия Себастьяна Найта» г-на Гудмэна (у меня будет повод высказаться о ней

подробнее) не упоминает этого второго брака вовсе, — обреченный на несуществование для ее читателей, я должен им казаться каким-то ложным родственником, говорливым самозванцем. Впрочем, сам Себастьян, в наиболее автобиографичной из своих книг («Стол находок»), нашел для моей матери теплые слова — думаю, она их заслужила. Не вполне точны и утверждения английской прессы, писавшей после смерти Себастьяна, что отец его был убит в 1913 году на дуэли; в действительности он, быстро поправляясь после пулевого ранения в грудь, подхватил спустя уже целый месяц случайную простуду, с которой не совладало его полужалеченное легкое.

Доблестный солдат, сердечный, веселый, пылкий человек, он обладал той предприимчивой неугомонностью, которую Себастьян унаследовал как писатель. Раз минувшей зимой на литературном обеде в Южном Кенсингтоне^{3}, когда разговор завертелся вокруг безвременной смерти Найта, некий именитый старый критик, блеск и ученость которого я всегда уважал, высказался так: «Бедняга Найт! У него, в сущности, было два периода: первый — это когда скучный человек писал на покореженном английском, и второй — когда покореженный человек писал на скучном английском», — колкость, мерзкая во многих смыслах, ибо слишком легко говорить о покойном авторе за спиной его книг. Хочу верить, что старый шут не гордится этой шуткой, тем более что раньше, рецензируя книги Себастьяна Найта, он придерживался куда более корректного тона.

И тем не менее надо признать, что жизнь Себастьяна, вовсе не будучи скучной, была в каком-то смысле лишена того редкостного накала, который отличал стиль его романов. Открывая любую из его книг, я так и вижу отца, быстро входящего в комнату, его особенную манеру, стремительно распахнув дверь, моментально завладеть нужным предметом или любимым существом. Память о нем навсегда связалась для меня с перехватом дыхания — вот я взметен куда-то ввысь, в руке еще качается половинка игрушечного поезда, а хрустальная подвеска люстры та качается в опасной близости от моей головы. Он припечатывает меня к полу так же внезапно, как только что вскинул вверх, так же внезапно, как Себастьянова проза подхватывает и несет читателя, чтобы швырнуть его, потрясенного, в радостную бездну следующего необузданного абзаца. Да еще некоторые из любимых присказок отца расцветают немислимыми цветами в таких типично найтовских вещах, как «Альбиносы в черном» или «Потешная гора»: эта изысканно-странная повесть, лучшее, быть может, из всего им написанного, напоминает мне улыбку спящего младенца.

Вирджинию Найт мой отец, тогда молодой гвардеец в отпуску, встретил в начале девяностых годов за границей, насколько я знаю, в Италии. Их знакомство было как-то связано с охотой на лис в окрестностях Рима, но знаю ли я об этом от матери или же вспоминаю неосознанно какой-нибудь нечеткий снимок из семейного альбома, сказать не могу. Он долго добивался ее руки. Она была дочерью Эдварда Найта, состоятельного джентльмена, и это все, что я о нем знаю. Впрочем, из того, что моя бабушка, женщина суровая и своенравная (помню ее веер, митенки, холодные белые пальцы), не только выставляла решительные возражения этому браку, но твердила о них даже после того, как отец женился вторично, я склонен вывести, что семейство Найт (что бы оно

собой ни представляло) не вполне достигало уровня требований (в чем бы они ни заключались), предписывавшихся в России зубрами старого режима. Я также не уверен, что первый брак отца не противоречил традициям полка – во всяком случае, его военная карьера началась по-настоящему лишь с русско-японской войной, значит, уже после того, как жена его бросила.

Я был еще ребенком, когда лишился отца; и лишь много позже, в 1922 году, за несколько месяцев до своей последней и роковой операции мать рассказала мне о некоторых вещах, которые, по ее мнению, мне следовало знать. Первый брак отца не был счастливым. Странная женщина, неугомонное, безрассудное создание – только ее неугомонность была иного рода, чем у отца, проявлявшего это свое свойство в неустанном преследовании какой-нибудь очередной цели, каковой изменял лишь после ее достижения. Она же пребывала в состоянии некоей равнодушной погони, капризной и безадресной – то энергично устремляясь по ложному следу, то оставляя его на полпути, как оставляют зонтик в таксомоторе. Она любила отца на свой лад, мягко говоря, истерический лад, и когда однажды ее осенило, что она, возможно, любит другого (чьего имени отец от нее так и не услышал), она покинула мужа и ребенка столь же внезапно, как струя дождевой влаги срывается вдоль по листу сирени. Напутственный кивок листа в миг избавления от сверкающей обузы должен был причинить отцу лютую боль, и я избегаю даже представлять себе этот день – парижскую гостиницу, четырехлетнего Себастьяна, позабытого озадаченной нянькой, и отца, запершегося в

«той особого рода гостиничной комнате, какие более всего подходят для постановки самых скверных трагедий: часы, поблескивающие из-под стеклянного колпака на зловещем камине, – нафабранные усы на циферблате замерли на без десяти два; балконная дверь с одуревшей мухой между кисеей и стеклом, а на захватанном бюваре – лист почтовой бумаги с гербом отеля».

Это из «Альбиносов в черном» – вещи, сюжетно никак не связанной с той конкретной катастрофой, но воплотившей далекое воспоминание обозленного ребенка, раскапризничавшегося на выцветшем гостиничном ковре, когда нечем себя занять, а время странно растягивается, а время пошло вразброд, вразброс...

Война с Японией, к счастью, дала отцу возможность занять себя деятельностью, которая помогла ему если не забыть Вирджинию, то хотя бы вернуть жизни какой-то смысл. Его буйный эгоизм был попросту отражением жизненной силы и, как таковой, пребывал в полной гармонии с его великодушной, по сути, натурой. Постоянное страдание, не говоря уже о самоубийстве, должно было казаться ему презренной, постыдной капитуляцией. Когда он в 1905 году женился вновь, он должен был, конечно, испытывать удовлетворение человека, одолевшего судьбу.

Вирджиния вынырнула в 1908-м. Закоренелая путешественница, вечно на колесах, она одинаково чувствовала себя дома и в пансиончике, и в

дорогом отеле: домашний уют состоял для нее в непрерывности перемен, и это от нее Себастьян унаследовал странную, почти романтическую страсть к спальным вагонам и знаменитым европейским экспрессам.

«Подсиненные ночные тени на слегка поскрипывающих полированных панелях; долгий печальный вздох тормозов на смутно угадываемой станции; штора тисненой кожи скользит вверх, открывая платформу, катящего багаж человека, молочный шар фонаря с кружащим вокруг бледным мотыльком; звяк невидимого молотка, пробующего колеса; скользящее движение во тьму – взгляд успел заметить одинокую даму на синем плюше освещенного купе, перебирающую в дорожном несессере блестящие серебром предметы».

Как-то зимой она без малейшего предупреждения прибыла Норд-экспрессом и прислала короткую записку с просьбой увидеть сына. Отец был в деревне на медвежьей охоте, поэтому моя мать кротко отправилась с Себастьяном в «Европейскую», где Вирджиния поселилась всего на полдня. Там, в холле, она и увидела первую жену своего мужа, стройную, чуть угловатую даму с трепещущим маленьким лицом под исполинской черной шляпой. Чтобы поцеловать мальчика, она отогнула вуаль, и разрыдалась – но не раньше, чем коснулась его, будто теплый нежный висок Себастьяна был и главным источником, и утолением ее скорби. Сразу вслед за тем она натянула перчатки и на плохом французском стала рассказывать моей матери совершенно бессмысленную и несуразную историю про какую-то польку, якобы пытавшуюся украсть у нее в вагоне-ресторане ридикюль. Затем она сунула Себастьяну в руку пакетик засахаренных фиалок, одарила мою мать нервной улыбкой и двинулась вслед за швейцаром, выносившим ее багаж. Вот и все, а на следующий год она умерла.

От Г. Ф. Стэйнтон, ее кузена, известно, что последние месяцы своей жизни она металась по югу Франции, задерживаясь на день-другой в жарких провинциальных городишках, куда редко заглянет турист, – взвинченная, одинокая (любовника своего она бросила) и, как видно, страшно несчастная. По тому как она пересекала собственный след или двигалась вдоль него обратно, это можно было бы счесть бегством от кого-то или от чего-то, но всякий, кто знал ее причуды, должен был расценить такие лихорадочные зигзаги как заключительную гиперболу ее всегдашней неумности. Она умерла от остановки сердца (болезнь Лемана) в городке Рокбрюн летом 1909 года; с доставкой ее тела в Англию возникли сложности. Никого из близких не было уже в живых, и в Лондоне на ее похоронах присутствовал один мистер Стэйнтон.

Родители мои жили счастливо. Это был исполненный нежности и любви союз, которого не могли омрачить мерзкие сплетни кое-кого из наших родственников, шептавших, что мой отец, даром что любящий муж, нет-нет да и увлечется иной прелестницей. Как-то раз под Рождество 1912 года одна его знакомая, очаровательная, но пустая молодая особа, вскользь упомянула, когда они шли по Невскому, что жених ее сестры, некто Пальчин, знавал его первую жену. Отец ответил, что помнит этого человека, их познакомили в Биаррице лет десять назад. Или девять.

— Да, но этим дело не кончилось, — сказала собеседница. — Понимаете, он рассказал сестре, что знался с Вирджинией после того, как вы расстались... А потом она его бросила где-то в Швейцарии... И никто не знал, забавно.

— Что ж, — сказал отец спокойно, — если это не выплыло раньше, незачем начинать болтовню десять лет спустя.

По безжалостному совпадению, наавтра добрый друг нашей семьи капитан Белов мимоходом спросил отца, верно ли, что его первая жена родом из Австралии — он, капитан, всегда считал ее англичанкой. Отец отвечал, что, насколько ему известно, ее родители какое-то время жили в Мельбурне, но родилась она в Кенте.

— А почему ты спрашиваешь?

Капитан заговорил уклончиво, что его жена была у кого-то в гостях и там кто-то начал кое-что рассказывать...

— Кое с чем придется, боюсь, покончить, — сказал отец.

На следующее утро он явился к Пальчину, который напустил на себя больше радушия, чем было надо. Так приятно, говорил он, видеть старых друзей, проведя столько лет за границей.

— Распространяется грязная ложь, — сказал отец, не садясь, — я думаю, вы знаете, о чем речь.

— Вот что я скажу, дорогой вы мой, — начал Пальчин. — Не вижу проку делать вид, будто я не понимаю, куда вы клоните. Мне жаль, что люди чешут языки, но, право же, это еще не повод выходить из себя... Никто не виноват, что мы когда-то пахали на одной кобылке.

— В таком случае, милостивый государь, — сказал отец, — я пришлю вам своих секундантов.

Пальчин был дурак и хам, так я, по крайней мере, заключил из материнского рассказа — в ее устах эта история приобрела ту живость и безыскусность, которую я попытался здесь передать. Но именно потому, что Пальчин дурак и хам, мне трудно понять, почему такому человеку, как мой отец, надо было рисковать жизнью — ради чего? чести Вирджинии? из жажды мести? Но ведь точно так же как честь Вирджинии была непоправимо запятнана уже самим ее бегством, так и все мысли о мщении должны были утратить свою горькую соблазнительность за годы счастливого второго брака. Или дело было в оглашении имени, в обнаружении лица, во внезапном гротескном зрелище клейма индивидуальности на дотоле безликом, давно прирученном привидении? Но чем бы ни было это эхо далекого прошлого (а эхо почти всегда — грубый лай, как бы ни был чист породивший его голос), стоило ли оно крушения нашего дома, горя матери?

Стрелялись в метель, у замерзшего ручья. Прозвучали два выстрела, и отец упал ничком на серо-голубую шинель, расстеленную на снегу.

Пальчин трясущимися руками закурил папиросу. Капитан Белов кликнул извозчиков, робко ожидавших поодаль на заметенной снегом дороге. Весь кошмар длился три минуты.

«Стол находок» доносит впечатления самого Себастьяна об этом зловещем январском деньке.

«Никто из домашних, включая и мою мачеху, не знал о предстоящем поединке. Накануне за обедом отец кидал в меня через стол хлебные шарики: я весь день дулся из-за треклятого шерстяного белья, которое мне предписал доктор, и отец пробовал меня развеселить. Но я хмурился, краснел и отворачивался. После обеда мы сидели у него в кабинете, и он попивал кофе, слушая жалобы мачехи на вредное обыкновение мадемуазель сперва уложить моего маленького братца в постель, а потом давать ему сладостей. Что до меня, то я, устроившись на диване, в дальнем конце комнаты, листаю журнал «Чамз»{4}: «Не пропустите продолжения нашей потрясающей повести». Вдоль нижнего края больших тонких страниц – шутки. «Почетному гостю показывают школу: – Что вас поразило сильнее всего? – Горох из горохомета». Грохочущие сквозь ночь экспрессы. Кембриджский крикетчик битой отражает нож, который метнул в его друга злодей-малаец... Вот уморительная история с продолжением, о трех мальчиках, один из них – гуттаперчевый, умеет закручивать свой нос штопором, второй – фокусник, а третий – чревовещатель... Всадник перескакивает через гоночный автомобиль...

Назавтра в гимназии я запутался в геометрической теореме, которая у нас именовалась «пифагоровы штаны». Утро было таким темным, что пришлось включить свет в классе, а от этого у меня в голове всегда начинался прегадкий гул. Я вернулся домой около половины четвертого с тем неотлпчивым чувством нечистоты, какое всегда выносил из гимназии, только теперь его еще усиливало колющее белье. В прихожей рыдал отцов денщик».

ГЛАВА ВТОРАЯ

В своей наскоро сляпанной и на редкость бестолковой книге г-н Гудмэн несколькими несуразными фразами набрасывает смехотворно превратную картину детства Себастьяна Найта. Одно дело – быть секретарем у писателя, и совсем другое – заниматься его жизнеописанием. А если последнее диктуется желанием выбросить книгу на рынок, пока еще можно подзаработать, взбрызгивая цветы на свежей могиле, тогда мы имеем дело с задачей третьего рода – как сочетать коммерческую спешку с исчерпывающими разысканиями, честностью и здравым смыслом. Не собираюсь чернить чью-нибудь репутацию, и далеко от клеветнического навета утверждение, что, лишь отдавшись во власть неумного стрекота своей пишущей машинки, мог г-н Гудмэн написать, будто «русское образование было навязано мальчику, всегда ощущавшему

в своих жилах мощную струю английской крови». Это чуждое воздействие, продолжает г-н Гудмэн, «доставляло ребенку столь тяжкие страдания, что даже в зрелые годы его пробирала дрожь при воспоминании о бородатых мужиках, иконах, трелях балалаек – обо всем том, что он получал взамен здорового английского воспитания».

Едва ли стоит упоминать, что описание г-ном Гудмэном русской среды не ближе к действительности, чем представление, скажем, калмыка об Англии, как об адском месте, где учителя с рыжими бакенбардами засекают школьников до смерти. А что действительно стоит подчеркнуть, так это факт, что Себастьян рос в атмосфере умственной утонченности, сочетавшей духовную благодать русского дома с лучшим, что есть в европейской культуре, и каким бы сложным и своеобразным ни было отношение Себастьяна к его русскому прошлому, оно никогда не опускалось до того вульгарного уровня, какой ему приписывает биограф.

Помню Себастьяна мальчиком – он на шесть лет меня старше – за восхитительной возней с акварельными красками в уютном конусе света дородной керосиновой лампы под розовым абажуром, чей шелк горит в моей памяти, словно сейчас расписан ужасно мокрой Себастьяновой кистью. Вижу себя, четырех или пяти лет, как я верчусь и вытягиваюсь на цыпочках, пытаюсь за движущимся локтем брата получить разглядеть ларчик с красками; клейкие красная и синяя до того зализаны кистью, что в углублениях блестят эмалевые донца. Каждый раз, когда он мешает краски в жестяной крышечке, раздаётся легкое постукивание, а воду в стакане заволакивают волшебные облака. Темные, коротко стриженные волосы Себастьяна не закрывают родинки возле просвечивающего розово-красного уха, – я к этому времени уже забрался в кресло, – но он все так же не обращает на меня внимания, пока я в отчаянном нырке не пытаюсь мазнуть по наиголубейшему из кирпичиков ларца. Тогда, не оборачиваясь, он движением плеча отпихивает меня прочь, такой же молчаливо-безучастный, какой он со мной всегда. Помню, как, свесившись через перила, вижу, что он поднимается по лестнице, только что из гимназии, в черном мундирчике и кожаном поясе, о котором я втайне мечтаю, поднимается медленно, сутулясь и влача за собой пегий ранец, рукой похлопывая по перилам и нет-нет да и перескакивая через две или три ступеньки. Я вытягиваю губы и выжимаю белую слюну, она летит вниз, вниз, всегда мимо цели: я поступаю так не из желания ему досадить – это лишь попытка, томительная и напрасная, принудить его бросить взгляд на мое существование. Осталось у меня и живое впечатление о том, как он едет на велосипеде с низким рулем по испещренной солнцем парковой аллее в нашем имении: неспешно катит, на холостом ходу, а я бегу следом и припускаю сильнее, когда его ступня в сандалиии налегает на педаль; я изо всех сил стараюсь не отстать от шипяще-тикающего заднего колеса, но он не обращает на меня внимания, и скоро я безнадежно отстаю, выдохшись вконец, но семенить не переставая.

Позже, когда ему было шестнадцать, а мне десять, он, случалось, помогал мне делать уроки, но объяснения его были до того быстры и нетерпеливы, что никакого не было толку от такой помощи, и очень скоро он совал карандаш в карман и надменно удалялся. Он был тогда рослым юношей с нездоровым цветом лица и темной тенью над верхней

губой. Волосы его разделял блестящий пробор, и он писал стихи в черную тетрадь, которую держал под замком в ящике стола.

Раз я заметил, где он прячет ключ (в щели стены возле белой голландской печи в своей комнате), и отпер ящик. Там и была эта тетрадь, а еще фотография сестры кого-то из одноклассников, несколько золотых монет и муслиновый мешочек с засахаренными фиалками. Стихи были на английском. Незадолго до смерти отца нам стали давать домашние уроки английского, и хотя я так и не научился свободно говорить на этом языке, читал и писал я сравнительно легко. Смутно припоминаю, что стихи были очень романтические, полные темных роз и звезд и зовов моря; но одна подробность стоит в моей памяти очень ясно: вместо подписи под каждым стихотворением стоял шахматный конь{5}, нарисованный черными чернилами.

Я пытался воссоздать последовательный образ Себастьяна из суммы всего виденного мной в детскую пору, скажем, между 1910 годом (с которого я себя помню) и 1919-м, годом его отъезда в Англию. Но задача мне не дается. Образ его не возникает передо мной ни как неотъемлемая часть моего детства, одна из его тем, допускающих бесконечное развитие и отбор фактов, ни как цепочка сколько-нибудь связанных воспоминаний – являясь мне в виде лишь считанных ярких пятен, как если бы брат был не членом нашей семьи, а неким странствующим гостем, пересекающим освещенную комнату, чтобы опять надолго пропасть в ночи. Я объясняю это даже не тем, что сознательные отношения между нами исключались из-за разницы в возрасте – он слишком меня опережал, чтобы быть моим товарищем, но не настолько, чтобы быть моим наставником, – а скорее постоянной отчужденностью Себастьяна, которая, как бы я горячо ни любил его, не давала моей привязанности встречного признания, лишала ее пищи. Вероятно, я сумел бы описать его походку, его манеру чихать или смеяться, но все это были бы не более чем случайные кадры, выхваченные ножницами из кинофильма и ничего общего не имеющие с сутью драмы. А драма была. Себастьян не мог забыть матери, как не мог забыть, что отец отдал за нее жизнь. То, что ее имя никогда не произносилось в нашем доме, только добавляло зловещих чар к пленительному образу, сбереженному его памятью и заполнившему его впечатлительную душу. Не знаю, мог ли он сколько-нибудь ясно помнить время, когда она была женой отца; вероятно, оно являлось ему как нежное сияние на заднике бытия. Еще меньше могу я сказать о том, что он, девятилетний, испытал, снова увидев ее. Моя мать рассказывала, что он был вял, еле ворочал языком и никогда потом не упоминал об этой короткой и душераздирающе ущербной встрече. В «Столе находок» есть намек на неясное чувство горечи, испытанное им, когда отец вновь счастливо женился, – чувство, переросшее в иступленное обожание, когда Себастьян узнал причину роковой дуэли.

«Мое открытие Англии, – пишет Себастьян («Стол находок»), – дало новую жизнь моим самым сокровенным воспоминаниям... После Кембриджа я уехал на континент и две спокойных недели провел в Монте-Карло. Кажется, именно там находится то, что именуется Казино и где идет азартная игра, но если это и так, я его пропустил, ибо почти все время отдавал сочинению своего первого романа, весьма претенциозной вещицы – отвергнутой, рад заметить, примерно таким же числом

издателей, сколько у моей второй книги нашлось читателей. В одну из долгих прогулок я обнаружил местечко под названием «Рокбрюн». А именно в Рокбрюне тринадцать лет назад умерла моя мать. Хорошо помню день, когда отец сказал мне о ее смерти и назвал пансион, где это случилось. Пансион назывался «Les Violettes».[1] Я спросил у какого-то шофера, не знает ли он подобного заведения, но он не знал. Потом спросил зеленщика, и тот показал дорогу. Наконец я пришел к розовой вилле, крытой типично провансальской круглой черепицей; на воротах я заметил неуклюже намалеванный пучок фиалок. Так, значит, в этом доме. Я прошел через сад и заговорил с владелицей. Она сказала, что пансион перешел к ней от старого хозяина лишь недавно, и она ничего не знает о прошлом. Я попросил разрешения посидеть в саду. С балкона на меня глазел голый, насколько он открывался моему взору, старик: больше никого кругом не было. Я сидел на голубой скамье под огромным эвкалиптом с наполовину оголившимся стволом, как это, кажется, принято у данной древесной породы. Мне хотелось увидеть розовый дом, дерево, весь образ места такими, какими их видела моя мать. Я горевал, что не знаю, где окна ее комнаты. Название виллы не оставляло сомнений, что та же клумба лиловатых анютиных глазок была перед глазами матери. Незаметно я довел себя до такого состояния, что в какой-то момент розовое с зеленым замерцало и поплыло, словно я глядел сквозь кисею тумана. Я увидел размытую фигурку моей матери: стройная, в большой шляпе, она медленно всходила по ступенькам, тающим, казалось, в воде. Устрашающий глухой удар вернул меня к действительности: из лежавшего у меня на коленях бумажного пакета вывалился апельсин. Я поднял его и вышел из сада. Несколько месяцев спустя мне случилось встретить в Лондоне ее кузена. В ходе разговора я упомянул, что посетил место смерти матери. «0 нет, – сказал он, – то совсем другой Рокбрюн{6}, в департаменте Вар».

Любопытно отметить, что, приводя этот отрывок, г-н Гудмэн не придумал ему лучшего толкования, чем такое:

«Себастьян Найт был до того влюблен в карикатурную сторону вещей и до того невосприимчив к их серьезной сути, что сумел, даже не будучи по природе циничным или бездушным, устроить балаган из сокровенных чувств, по справедливости священных для рода человеческого».

Не диво, что наш напыщенный биограф не в ладах с собственным героем в каждой строке своего рассказа.

По упомянутым причинам не буду пытаться описывать отрочество Себастьяна, неукоснительно соблюдая последовательность событий, выстроить которую, будь он персонажем вымышленным, не составило бы труда. Тогда я мог бы надеяться, что описание плавного развития моего героя от младенчества к юности всячески вразумит и потешит читателя. Но если бы я попробовал такое проделать с Себастьяном, на свет явился бы очередной образчик жанра «*biographie romancée*», [2] несомненно худшего из всех доселе выведенных сортов литературы. Так что оставим дверь затворенной, пусть только из-под нее выбивается

туго натянутая полоска света; пусть и она погаснет, когда в соседней комнате Себастьян отойдет ко сну, пусть прекрасный оливковый дом на невиской набережной понемногу уйдет в затемнение сине-серой морозной ночи с мягко падающими снежинками, что мешкают в лунно-белом свете высокого уличного фонаря, припудривая мощные конечности двух уюмившихся на карнизе бородачей, в достойном Атласа усилии подпирающих эркер отцовской комнаты. Отца нет в живых, Себастьян спит – по крайней мере тих, как мышь, в смежной комнате, – я лежу в постели без сна, вглядываясь в темноту.

Лет двадцать спустя я предпринял поездку в Лозанну, чтобы разыскать старую швейцарку, в прошлом гувернантку Себастьяна, потом мою. Когда она от нас ушла в 1914 году, ей было около пятидесяти; переписка между нами давно оборвалась, и я совсем не был уверен что в 1936-м застану ее в живых. Однако же застал. Существует, оказывается, целая гильдия швейцарских старух, которые были до революции гувернантками в России. Они «живут в своем прошлом», как объяснил проводивший меня к ним на редкость учтивый господин. Закат своих дней – а были они в большинстве своем ветхи и не в твердом уме – они проводили, сравнивая дневниковые записи, ведя друг с дружкой мелкие междоусобные войны да браня положение дел, какое они застали дома после долгих лет в России. Их трагедия заключалась в том, что все эти годы в чужом краю они оставались совершенно невосприимчивыми к его влиянию (вплоть до незнания простейших русских слов), слегка даже враждебными тому, что их окружало, – как часто я слышал сетования «мадемуазель» на свое изгнание, жалобы на то, что ее не понимают и третируют, вздыхания о прекрасной своей родине; но когда бедные скиталицы возвратились домой, они ощутили себя до того иноземками в изменившейся стране, что, по какому-то чудачеству чувств, Россия (на деле бывшая для них непостижимой бездной, приглушенно гроыхавшей за пределами лампового круга на стене в душной задней комнате, увешанной семейными фото в перламутровых рамках да акварелями Шильонского замка), неведомая Россия приобрела для них теперь черты потерянного рая – смутного, обширного, но задним числом приятного пространства, населенного пленительными призраками их снов. Мадемуазель совсем поседела и оглохла, но говорлива была как прежде, и после пылких приветственных объятий тут же принялась припоминать маленькие события моего детства – либо искаженные до неузнаваемости, либо столь чуждые моей памяти, что плохо верилось в их подлинность. Выяснилось, что она не знала ни о смерти моей матери, ни о том, что и Себастьян уже три месяца нет в живых. Между прочим, не подозревала она и о том, что он стал большим писателем. Она пролила много слез, и вполне искренних, но ее, похоже, задевало то, что я не плачу с ней заодно. «Ты всегда был слишком сдержанным», – проговорила она. Я сказал, что пишу о Себастьяне книгу, и просил порассказать о его детстве. Она появилась в нашем доме после женитьбы отца, но в голове у нее все бывшее настолько сместилось и затуманилось, что она говорила о первой жене отца («cette horrible Anglaise»[3]), словно знала ее не хуже, чем мою мать («cette femme admirable»[4]).

– Бедный мой маленький Себастьян, – причитала она, – такой был нежный со мной, такой благородный. Никогда не забуду, как он обвивал мою шею ручонками и говорил: «Я всех ненавижу, Zelle, [5] кроме тебя,

ты одна понимаешь мою душу». А в тот день, когда я его чуть-чуть шлепнула по ладонке – *une petite tape*[6] – за то, что он нагрубил твоей матери, у него такое было в глазах выражение, что я чуть не расплакалась. И каким голосом он мне сказал: «Спасибо, Zelle. Это больше не повторится!..»

Она довольно долго продолжала в том же духе, вогнав меня в состояние унылой неловкости. После нескольких тщетных попыток я сумел перевести разговор – изрядно к тому времени охрипнув, поскольку она куда-то задевала слуховую трубу. Тогда она стала жаловаться на свою товарку, толстенькую и еще более древнюю старушенцию, с которой я повстречался в коридоре: «Эта госпожа хорошая вконец оглохла и ужасная лгунья. Я точно знаю, что детям княгини Демидовой она только давала уроки, а в доме у них никогда не жила».

– Напиши эту книгу, эту чудесную книгу, – выкрикнула она мне, когда я уходил. – Пусть это будет сказка, а Себастьяна сделай принцем, зачарованным принцем... Сколько раз я ему говорила: «Берегись, Себастьян, женщины будут от тебя без ума». А он смеется и отвечает: «Ну и я буду от них без ума...»

Я внутренне поежился. Она вlepила мне звонкий поцелуй, погладила по руке и снова залилась слезами. Я поглядел на затуманенные старые глаза, на мертвый блеск вставных зубов, на такую памятную гранатовую брошь у нее на груди... Мы распростились. Лил сильный дождь, мне было стыдно и досадно, что пришлось прервать вторую главу ради этого бесполезного паломничества. Одно обстоятельство особенно меня расстроило. Она не задала ни единого вопроса о том, как жил Себастьян, как он умер, – ни полсловечка.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В ноябре 1918 года моя мать решила бежать со мною и Себастьяном от российских напастей. Вовсю бушевала революция, границы закрылись. Мать нашла человека, сделавшего переброску беженцев за кордон своей профессией, и условилась с ним, что за вознаграждение, половина которого выплачивалась заранее, он доставит нас в Финляндию. Не доезжая границы, мы должны были сойти с поезда на станции – последней, где это можно было сделать, а дальше идти потаенными тропами – вдвойне и втройне потаенными под завалившими этот безмолвный край снегами. И вот мы вдвоем с матерью в отправной точке нашего железнодорожного путешествия: мы ждем Себастьяна, который с героической помощью капитана Белова везет багаж из дома на вокзал. Поезд отходил в 8.40 утра. Половина девятого, а Себастьяна все нет. Наш провожатый уже в поезде – спокойно сидит с газеткой; мать предупреждена, что ни при каких обстоятельствах не должна заговаривать с ним при посторонних, а время идет, поезд вот-вот тронется, и нами овладевает чувство кошмарного, цепящего ужаса. Мы

знаем, что этот человек, согласно заветам своего ремесла, ни за что не сделает второй попытки, если первая рухнула еще в зачине. Знаем и то, что вторично оплатить свой побег мы не сможем. Минуты проходят, и у меня начинает отчаянно сосать под ложечкой. Мысль, что через минуту–другую поезд тронется, а мы должны будем вернуться на темный, холодный чердак (дом наш уже несколько месяцев как национализован), смерти подобна. По пути на вокзал мы обогнали Себастьяна и Белова, толкавших тяжело нагруженную тачку по скрипящему снегу, и эта картина теперь неподвижно стоит перед моими глазами (в свои тринадцать лет я одарен воображением), словно колдовством обреченная каменеть в вечности. Мать расхаживает по платформе туда и обратно, – руки заложены в рукава, из–под шерстяного платка выбилась пепельная прядь, – и всякий раз, проходя мимо окна, за которым сидит наш провожатый, пытается поймать его взгляд. Восемь сорок пять, восемь пятьдесят... Поезд задерживается, но вот взревел гудок, струя теплого белого дыма подхлестывает собственную тень на буром снегу платформы, и в этот миг появляется бегущий Себастьян, отвороты его треуха летят по ветру. Мы еле успеваем вскочить в тронувшийся поезд. Потребовалось время, прежде чем он сумел нам рассказать, что капитана Белова схватили на улице, когда они проходили мимо дома, где тот жил раньше, и тогда, бросив багаж на произвол судьбы, он, Себастьян, лишь ценой отчаянных усилий прорвался к вокзалу. Через несколько месяцев мы узнали, что наш несчастный друг был расстрелян в одной партии с еще двумя десятками людей, плечом к плечу с Пальчиным, встретившим смерть так же отважно, как Белов.

В «Сомнительном асфоделе» (1936), последней своей книге, Себастьян вывел эпизодическое действующее лицо – недавнего беглеца из неназванной страны убожества и ужаса.

«Что могу я вам сказать, господа, о своем прошлом? Я родился в краю, где хладнокровно, грубо и презрительно попирается идея свободы, понятие о праве, обычаи человеческой доброты. На протяжении всей его истории лицемерные правители время от времени перекрашивают стены тюрьмы, в которой заперт народ, в более славненький оттенок желтого цвета и громко возглашают о даровании прав, привычных более удачливым странам; но то ли этими правами пользуются исключительно тюремщики, то ли в них есть какой–то тайный изъян, – только они горше декретов откровенной тирании... Каждый человек в этой земле если не разбойник, то раб; поскольку личности отказано иметь душу и все относящееся до души, постольку причинение физической боли рассматривается как достаточное средство, чтобы руководить и управлять человеческой натурой... Время от времени случается происшествие, именуемое революцией, которое делает рабов разбойниками и наоборот... Мрачная страна, отвратительное место, господа, и если в сей жизни я могу быть в чем–то уверен, так это в том, что никогда не променяю свободу моего изгнания на гнусную пародию дома...»

Из того, что в речи этого персонажа мелькнули «обширные леса и укутанные снегом равнины», г–н Гудмэн немедленно вывел, что весь этот кусок выражает собственное отношение Себастьяна Найта к России.

Это карикатурное недоразумение: всякому беспристрастному читателю должно быть ясно, что речь идет скорее об искусно составленном сплаве тиранических гнусностей, нежели о какой-то конкретной стране или исторической реальности. И если я привел эту тираду сразу после рассказа о том, как Себастьян оказался за пределами революционной России, то лишь затем, чтобы все это увенчать несколькими фразами из его наиболее автобиографической книги.

«Я всегда думал, — пишет он («Стол находок»), — что одно из самых чистых чувств — это чувство изгнанника, оплакивающего землю, где он родился. Я желал бы показать, как изо всех сил напрягает он память в бесконечных усилиях сохранить живыми и яркими картины былого: холмы, что запомнились голубыми, и благословенные дороги{7}, и зайцев на пашне, и живую изгородь, в которую вплелась неофициальная роза{8}, и колокольню вдаль, и колокольчик под ногами... По той, однако, причине, что тему эту поиздержали более крепкие, чем я, таланты, а еще из-за врожденного недоверия ко всему, что кажется легко изобразимым, никакому сентиментальному пилигриму никогда не позволено будет высадиться на скалу моей неприветливой прозы».

Безотносительно к замыкающим отрывок словам очевидно, что только тот, кому ведомо, каково навсегда оставить милую отчизну, мог испытать подобный искус ностальгии. Для меня нелегко поверить, что Себастьян, каким бы ужасным ни был лик России во время нашего бегства, не разделял щемящей тоски, которую испытывали мы все. Как ни верти, Россия была его домом, а круг людей, учтивых, дружелюбных, благонамеренных, обреченных на смерть или изгнание за один лишь грех — за то, что они существуют, был и его кругом.

Его угрюмые молодые думы, его романтическая — и, позвольте добавить, слегка искусственная — страсть к родине его матери не могли, я знаю, вытеснить невыдуманную любовь к стране, где он родился и вырос.

Бесшумно вкатившись в Финляндию, мы какое-то время жили в Гельсингфорсе. Затем наши пути разошлись. Вняв совету старой подруги, мать отвезла меня в Париж, где я возобновил занятия, а Себастьян отправился в Лондон, потом в Кембридж. От своей матери он унаследовал порядочный доход, и какие бы невзгоды ни осаждали его в дальнейшей жизни, они никогда не были связаны с деньгами. Перед его отъездом мы по русскому обычаю все трое молча присели «на дорогу». Помню, как сидела моя мать, сложив на коленях руки и крутя отцовское обручальное кольцо (ее обычный жест в праздную минуту), которое носила на одном пальце со своим и которое ей было так велико, что она оба их связала черной тесемкой. Помню и позу Себастьяна; на нем синий костюм, нога закинута на ногу и чуть покачивается. Я встаю первым, потом он, потом мама. Он взял с нас слово не провожать его на корабль, так что мы прощаемся здесь, в этой выбеленной комнате. Мать быстро крестит его склоненное лицо, и вот мы глядим из окна, как он со своим чемоданом усаживается в такси: сгорбленное воплощение отъезда.

Вести от него приходили нечасто, коротки были и письма. За три

кембриджских года он навел нас в Париже всего два раза – а вернее сказать, один, потому что во второй раз он приехал на похороны моей матери. Что до нас, мы о нем говорили часто, особенно в последний год ее жизни, когда она уже ясно понимала, что дни ее на исходе. Это она мне рассказала о странном приключении Себастьяна в 1917 году: оказывается, пока я проводил каникулы в Крыму, престранная пара сняла дачу рядом с нашим лужским имением – поэт-футурист Алексей Пан с женой Ларисой, и Себастьян с ними сдружился. Поэт был шумливый коротышка с искрами истинного дара в сумбуре невразумительных стишат. Но из-за того что он всячески норовил ошарашить публику лавиной праздных слов (он был изобретатель, по его словам, «заумного бурчания»), основная часть его наследия выглядит сейчас такой захудалой, ненастоящей, старомодной (всему сверхмодернистскому присуще чудное свойство дряхлеть, сильно опережая время), что настоящую ему цену знают два-три филолога, отдающие должное его блестящим переводам из английской поэзии, сделанным в самом начале его литературной карьеры, и один из них – воистину чудо словесной трансфузии, «La Belle Dame Sans Merci»[7] Китса[9].

И вот однажды ранним утром – дело было в начале лета – семнадцатилетний Себастьян исчез, оставив моей матери записочку, что он присоединяется к Пану и его жене в их путешествии на Восток. Сначала она приняла это за шутку (Себастьян при всей своей сумрачности мог порой измыслить какую-нибудь гадкую забаву, вроде той, когда он в переполненном трамвае передал через кондуктора девушке в другом конце вагона записку такого содержания: «Я всего лишь бедный кондуктор, но я Вас люблю»). Мать, впрочем, зашла на дачу к Панам и убедилась, что те и впрямь отбыли. Позже выяснилось, что задуманная Паном идея марко-половецкого путешествия состояла в том, чтобы, неспешно дрейфуя в восточном направлении от одного провинциального города к другому, в каждом устраивать «лирический сюрприз», а именно: снимать зал (или навес, когда не выходило с залом) и давать поэтическое представление, на выручку от которого они перемещались бы в другой город. Осталось неясным, в чем состояли обязанности Себастьяна, и не приходилось ли ему просто околачиваться вокруг, быть на подхвате да улещивать вздорную и трудноукротимую Ларису. Алексей Пан обычно выходил на сцену в визитке, почти безукоризненной, если не считать вышитых на ней крупных лотосов. Его лысеющий лоб украшало созвездие Большого Пса. Стихи свои он читал громоподобным голосом, что, сочетаясь с маленьким ростом, наводило на мысль о мыши, рождающей гору. Рядом на сцене восседала Лариса, крупная лошадеподобная женщина в розовато-сиреневом платье, пришивая пуговицы либо починяя старые брюки, – жаль только, что в повседневной жизни она ничего подобного для мужа не делала. Время от времени, между двух стихотворений, Пан учинял некий медленный танец – смесь игры запястьями в яванском духе с собственными ритмическими затеями. По завершении декламации он несказанно наклюкивался – и в этом была его гибель. Путешествие на Восток окончилось в Симбирске: для мертвеца пьяного Алексея – в грязных номерах и без копейки за душой, для Ларисы с ее истериками – в околотке за оплеуху какому-то докучливому чиновнику, не одобрявшему буйного гения ее мужа. Себастьян воротился домой столь же беззаботно, как и отправился в путь. «Любой другой мальчишка, – добавила мать, – имел бы сконфуженный вид и краснел от стыда за эту глупую историю», – но

Себастьян говорил о своем путешествии так, словно был безучастным свидетелем диковинного случая. Почему он участвовал в этом дурацком балагане и что, собственно, побудило его водить приятельство с этой карикатурной четой, осталось полной загадкой. Мать допускала, что Себастьяна могла прельстить Лариса, но женщина эта была совершенно неказиста, не первой молодости и остервенело влюблена в мужа-сумасброда. Вскоре они исчезли из поля зрения Себастьяна. Два-три года спустя Пан пережил недолгую искусственную славу в большевистских кругах – благодаря, думаю, странному, основанному на терминологической путанице представлению, подразумевающему прямую связь между крайностями в искусстве и политике. Позже, в 1922 или 1923 году, Алексей Пан повесился на подтяжках.

«Я постоянно чувствовала, – говорила мать, – что в сущности не знаю Себастьяна. Я знала, что он опрятен, что у него хорошие отметки в гимназии, что он прочитывает груды книг, упрямо принимает ежеутреннюю ванну, – при слабых-то легких, – я знала все это и многое другое, но суть его ускользала от меня. И теперь, когда он в чужой стране и пишет нам письма по-английски, я не могу избавиться от мысли, что он так и останется загадкой – а ведь Бог свидетель, как непритворно я старалась быть ласковой с мальчиком».

Когда Себастьян по завершении первого университетского курса навестил нас в Париже, я был поражен его чужестранным обликом. Под твидовым пиджаком он носил канареечно-желтый джемпер, брюки из шерстяной фланели были мешковаты. Толстые носки, не знакомые с подвязками, спадали, кричали полосы на галстук, а носовой платок он по неясной причине носил в рукаве. На улице он курил трубку и выбивал ее о каблук. У него появилась новая привычка стоять спиной к камину, погрузив руки в карманы штанов. Русским языком он пользовался осмотнительно, переходя на английский, если разговор затягивался более чем на две фразы. Пробыл он ровно неделю.

В следующий раз он приехал, когда моей матери не стало. После похорон мы долго сидели вдвоем. Он неловко погладил меня по плечу, когда, невзначай заметив ее одиноко лежащие на камине очки, я залился слезами, с которыми до того кое-как справлялся. Он был полон участия и сочувствия, но как-то издали, словно не переставая думать о другом. Мы обсудили наши дела, и он предложил вместе ехать на Ривьеру, а оттуда в Англию; я как раз окончил лицей. Я ответил, что бить баклуши предпочитаю в Париже, где у меня много друзей. Он не настаивал. Коснулись денежного вопроса, и он в своей чудаковато-бесцеремонной манере заметил, что я всегда могу у него получить столько, сколько захочу (кажется, он выразился: «столько монеты», но я не уверен). На следующий день он уезжал на юг Франции. Утром мы вышли немного прогуляться, и, как всегда, когда мы оставались вдвоем, мной овладело непонятное смущение, я все время ловил себя на том, что не нахожу темы для разговора. Он тоже помалкивал. Перед самым отъездом он сказал: «Что ж, ничего не поделаешь. Нужно будет что-нибудь – пиши мне в Лондон. Надеюсь, твоя Сор-бонна удастся на славу, как мой Кембридж. Да, кстати, постарайся найти себе предмет по сердцу и не бросай, покуда не надоест». Что-то зажглось в его темных глазах. «Удачи – и веселей!» – его словно бы неуверенное рукопожатие выдавало усвоенную в Англии манеру.

Невесть почему, мне вдруг стало бесконечно жаль его, захотелось сказать какие-то подлинные, с сердцем и крыльями слова, но, увы, желанные птицы уселись мне на плечо и голову, лишь когда я остался один и надобность в словах миновала.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я принялся за эту книгу спустя всего два месяца после смерти Себастьяна. Мне ли не знать, как мало понравились бы ему подобные сентиментальные плетения, но все равно скажу: моя неизменная к нему привязанность, которая всегда так или иначе пресекалась им и окорачивалась, теперь воспряла к новой жизни в таком эмоциональном накале, что все мои прочие дела сошли на нет, словно тени. В наши редкие встречи разговор никогда не заходил о литературе, и теперь, когда вследствие странного обычая людей умирать никакое общение между нами уже невозможно, я отчаянно сожалею, что ни разу не сказал Себастьяну, насколько меня восхищают его книги. Мало того, я беспомощно гадаю: а было ли ему вообще известно, что я их читал?

Да и что вообще я знаю о Себастьяне? Я могу заполнить две-три главы тем немногим, что помню о его детстве и юности, а дальше? Едва я начал обдумывать книгу, мне стало очевидно, что я должен буду предпринять целое исследование, воссоздать эту жизнь из осколков, срастив их внутренним знанием его характера. Внутренним знанием? Да, им-то я обладал, ощущая его всем своим существом. И чем больше я думал, тем яснее убеждался, что располагаю еще одним средством: всякий раз, стараясь вообразить те его поступки, о которых мне стало известно после его смерти, я уже знал, что и сам действовал бы точно так же. Однажды я наблюдал, как играли друг против друга два брата, оба теннисные чемпионы: один был значительно сильнее другого, и удары у них были совершенно разные, но общий ритм движений обоих порхавших по корту игроков оставался одним и тем же, и будь возможно записать оба варианта игры, на свет явились бы два одинаковых рисунка.

Что-то вроде общего ритма, смею утверждать, имели и мы с Себастьяном — только так я могу объяснить странное чувство «уже бывшего», которое меня охватывает, когда я следую изгибами его жизни. И если мотивы многих его поступков сплошь и рядом оставались для меня загадочными, то теперь их смысл я обнаруживаю порой в неожиданном для меня самом повороте той или этой выходящей из-под моего пера фразы. Вовсе не хочу сказать, что разделяю с ним все сокровища его ума, все стороны его таланта. Его гений всегда казался мне чудом, никак не связанным с тем или иным опытом, общим для нас в силу совпадающих реалий детства. Я мог видеть и помнить то же, что и он, но разница между его силой выражения и моей такая же, как между роялем «Бехштейн» и детской погремушкой. Я ни за что бы ему не

показал и малейшей фразы из этой книги, чтобы не заставлять его морщиться над моим убогим английским. А уж он бы поморщился. Не отважусь рисовать себе его реакцию, узнай он, что, прежде чем взяться за это жизнеописание, его братец (чей литературный опыт сводился до этого к нескольким случайным переводам на английский по заказу автомобильной фирмы) решил окончить курсы для будущих авторов, бодро разрекламированные в каком-то английском журнале. Признаюсь, да, — но не сожалею. Джентльмен, который должен был за разумное вознаграждение сделать из моей особы преуспевающего писателя, прямо-таки лез из кожи, чтобы научить меня, как быть неброским и изящным, живым и убедительным, и если я оказался бездарным учеником — хотя он слишком добр, чтобы это признать, — то потому лишь, что с самого начала меня заворожило сияющее великолепие рассказа, который он мне прислал как образчик достижений его учеников, вполне способный заинтересовать издателя. Среди прочего там имели место: злонамеренный китаец, который беспрестанно щерился, отважная кареглазая девушка и спокойный здоровяк^{10}, у которого белеют костяшки пальцев, когда кто-нибудь досаждаёт ему не на шутку. Я бы умолчал о столь бредовой затее, если бы она не бросала свет на то, как худо я был снаряжен для поставленной задачи и до каких диких крайностей доводила меня робость. Взяв же, наконец, в руку перо, я настроился на встречу с неизбежным, а это, собственно, и означает, что я наконец созрел и готов не щадить усилий.

Тут скрыта еще одна мораль. Если бы Себастьян, забавы ради, записался на такие же заочные курсы — просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет (он любил подобные увеселения), он оказался бы учеником неизмеримо худшим, чем я. Получив задание написать как г-н Всяк, он написал бы, как не пишет никто. Я не в состоянии воспроизвести его стиль, потому что стиль его прозы был стилем его мышления, а оно было головокружительной чередой зияний, которых не собезьянничать, потому что их все равно надо чем-то заполнять, тем самым упраздняя. Но когда я встречаю в книгах Себастьяна след впечатления или чувства, сразу же воскрешающий, скажем, некую игру света в некоем определенном месте — картину, оказывається, запавшую помимо воли в память нам обоим, — то начинаю надеяться, что пусть мне далеко до его таланта, все же выручит меня не что иное, как наше явное психологическое сродство.

Орудие в наличии, остается пустить его в ход. Первым моим долгом после смерти Себастьяна было просмотреть его вещи. Он все оставил мне, и я располагал его запиской с поручением сжечь кое-что из бумаг, изложенной так неопределенно, что поначалу я отнес ее к черновикам или к ненужным более рукописям, но вскоре убедился, что за вычетом немногих случайных листков, затерявшихся в прочих бумагах, все это было давно уничтожено им самим, поскольку он принадлежал к редкой породе писателей, твердо знающих: не должно оставаться ничего, кроме конечного результата — изданной книги, бытие которой несовместимо с существованием ее призрака — неотесанного, щеголяющего прорехами манускрипта (так мстительное привидение носит под мышкой собственную голову); вот почему отходы мастерской не имеют права на жизнь безотносительно к их сентиментальной или коммерческой ценности.

Когда я впервые переступил порог квартиры Себастьяна в Лондоне, 36 Оук-Парк-Гарденз, у меня возникло чувство пустоты, какое бывает, когда время упущено и долго откладывавшаяся встреча уже невозможна. Три комнаты, холодный камин, тишина. Последние годы он мало здесь жил, не здесь и умер. В платяном шкафу полдюжины костюмов, почти все старые, и у меня мелькнуло ощущение, что это фигура Себастьяна размножена в окостеневших формах распыленных плеч. Вот в этом коричневом пальто я его однажды видел; я потрогал вялый рукав, но он не отозвался на слабый оклик памяти. Были, конечно, и башмаки: они прошагали много миль и наконец достигли конца путешествия. Навзничь расprostерлись сложенные сорочки. Что могли мне рассказать о Себастьяне эти притихшие вещи? Его кровать. Над ней, на стене цвета слоновой кости, небольшой старый пейзаж маслом, чуть растрескавшийся (радуга, распутица, красивые лужи). Первое, что он видел, просыпаясь.

Когда я оглянулся, мне показалось, что предметы в спальне, словно застигнутые врасплох, только-только успели вскочить на свои места и теперь украдкой на меня поглядывают, пытаюсь понять, заметил ли я этот преступный маневр, — особенно стоящее у кровати низенькое кресло в белом чехле: интересно, что оно там припрятывает? Пошарив в пазах его строптивых складок, я нашел нечто твердое, оказавшееся бразильским орехом. И кресло, сложив ручки, снова напускает на себя непроницаемое выражение (не высокомерной ли гордыни?).

Ванная. Стеклянная полочка, голая, если не считать плечистого, с фиалками на спине, жестяного флакона из-под талька, отраженного в зеркале, как на цветной рекламе.

Потом я осмотрел две основные комнаты. Столовая, как все места, где люди едят, была на диво безлика, потому, возможно, что пища — главное, что нас связывает с мающимся вокруг хаосом материи. Даже окурок в стеклянной пепельнице и тот оставил некто Мак-Мэс, квартирный агент.

Кабинет. Отсюда виден сад — или палисадник — позади дома, темнеющее небо, парочка вязов (а не дубов, как обещало название улицы).{11} В углу развалился кожаный диван. Густо заселенные книжные полки. Письменный стол. На нем почти пусто: красный карандаш да коробка скрепок — вид понурый и отрешенный, хотя лампа на западном краю стола прелестна. Я нащупал ее пульс и расплавил опаловый шар — эта волшебная луна видела движущуюся бледную руку Себастьяна. Теперь я наконец и приступаю к делу. Завещанным мне ключом я отпер ящики стола.

Первыми я извлек две связки писем, на которых Себастьян написал: уничтожить. Одна уложена так, что нельзя увидеть ни строчки; бумага голубого оттенка, с синей каемкой, шероховатая. Другая связка представляла собой беспорядочный пук почтовой бумаги, исчерканной крупными и напористыми женскими каракулями. Я стал гадать, чьими. Какое-то безумное мгновение я боролся с искушением познакомиться с обеими пачками поближе. С сожалением сообщаю, что победило лучшее из моих «я». Но когда я жег их в камине, один из голубых листов высвободился и, отпрянув от огненной пытки, развернулся в обратную

сторону, и на нем, прежде чем их поглотила тлетворная чернота, просияли два-три слова, тут же обмершие, и все было кончено.

Я погрузился в кресло и несколько мгновений пребывал в задумчивости. Слова, которые я увидел, сами по себе, право, не имели никакого значения (да и можно ли ожидать, чтобы от случайного языка огня потянулась вдруг хитроумная нить романного сюжета), но они были русскими и составляли часть русской фразы. Дословно там стояло: «Твоя привычка вечно находить...» Поразил меня не смысл, а то, что фраза была на моем родном языке. Я не имел ни малейшего понятия, кто сия русская, чьи письма Себастьян держал рядом с письмами Клэр Бишоп{12}, – и это меня смутило и встревожило. Из своего кресла возле камина, снова холодного и черного, я смотрел на светящийся шар настольной лампы, яркую белизну бумаги, до краев заполнявшей выдвинутый ящик, и одиноко лежащий на синем ковре лист машинописного формата, диагонально разрезанный световой границей. На секунду я увидел сидящего за столом прозрачного Себастьяна и тут же подумал, припоминив отрывок о ложном Рокбрюне: может, он предпочитал писать в постели?

Чуть погодя я снова принялся за дело: надо было просмотреть и рассортировать, хотя бы грубо, содержимое ящиков стола. Там было много писем – я их отложил, чтобы просмотреть позже. Газетные вырезки в броском альбоме с невозможной бабочкой на обложке. Нет, не рецензии на его книги: у Себастьяна было слишком высокое самомнение, чтобы их собирать, да и чувство юмора едва ли допускало, чтобы он прилежно их наклеивал, когда они попадались ему на глаза. Так вот, упомянутый альбом содержал исключительно вырезки, где речь шла, как я выяснил позже, пробежав их на досуге, о происшествиях нелепых и несообразных (сродни сновидениям), случавшихся в самых заурядных местах и при самых заурядных обстоятельствах. Приветствовались, как я понял, и метафоры-гибриды – возможно, он числил их по тому же, чуть кошмарному, ведомству. Среди каких-то юридических бумаг я нашел листок с началом рассказа – всего одно предложение, оборванное на полуслове, давшее зато возможность понаблюдать за странной привычкой Себастьяна не вычеркивать слова, которые он в процессе письма заменял другими, так что, например, обнаруженная фраза выглядела так:

«Будучи Любитель Любитель поспать, Роджер Роджерсон, старый Роджерсон купил старый Роджерс купил, до того боялся Любитель поспать, старый Роджерс так боялся пропустить завтрашний. Он был не дурак поспать. Он смертельно боялся пропустить завтрашнее событие блаженство ранний поезд блаженство поэтому вот что он сделал купил и понес домой купил и принес домой в тот вечер не один, а восемь будильников разного размера и силы тиканья девять восемь одиннадцать будильников разного размера и силы тиканья, каковые будильники девять будильников словно кот с девятью{13} которые он поместил отчего его спальня стала слегка напоминать».

Мне стало жаль, что на этом все кончилось.

Иностранные монеты в коробке из-под шоколадных конфет: франки, марки, шиллинги, кроны – и соответствующая мелочь. Несколько вечных перьев. Восточный аметист, неоправленный. Аптечная резинка. Слякка пилюль от мигрени, нервного припадка, невралгии, бессонницы, дурных снов, зубной боли. Зубная боль звучала чуть сомнительно. Старая записная книжка (1926), полная мертвых телефонных номеров. Фотографии.

Я решил было, что увижу множество девушек. Все знают этот жанр: улыбки на солнце, летние снимочки, уловки континентальной светотени, смеющиеся девы в белом на улице, на песке, на снегу – но я ошибся. Примерно две дюжины фотографий, что я вытряс из большого конверта с лаконичной надписью рукой Себастьяна «Г–н Эйч», изображали одно и то же лицо в разные периоды жизни: сперва луноликого пострела в скверно скроенной матроске, затем некрасивого отрока в крикетном картузе, потом – курносого юнца и так далее, пока дело не доходит до вереницы уже полновозрастных г–д Эйчей. Скорее отталкивающий, бульдожьего типа мужчина, быстро тучнеющий в мире фотографических задников и всамделишных садилов при фасадилах. Я понял, кем должен был стать этот человек, когда набрел на газетную вырезку на общей скрепке с одним из снимков:

«Автор, пишущий вымышленное жизнеописание, нуждается в фотографиях джентльмена с располагающей наружностью, открытого, уравновешенного, трезвенника, предпочтительно холостяка. Заплати за право воспроизвести в своей книге детские, юношеские и взрослые снимки».

Книги этой Себастьян не написал, но, возможно, продолжал ее обдумывать в последний год своей жизни, поскольку позднейшая из фотографий г–на Эйча, где он со счастливым видом позирует у новенького автомобиля, была помечена мартом 1935–го, а Себастьян умер менее года спустя.

Хандра и усталость вдруг овладели мной. Мне нужно лицо его русской корреспондентки. Мне нужны фото самого Себастьяна. Мне нужно многое... Чуть погодя, дав взгляду побродить по комнате, я заметил парочку обрамленных фотографий в тусклом полумраке над полками. Я поднялся и осмотрел их. Одна представляла собой увеличенный снимок оголенного по пояс китайца, подвергаемого энергичному обезглавливанию^{14}, другая – заурядный фотоэтюд: кудрявое дитя, играющее со щенком. Вкус подобного соединения я счел сомнительным, но, возможно, у Себастьяна были свои причины их сберечь и именно так развесить.

Я перешел к полкам, где было рассовано как попало множество самых разных книг. Один ряд выглядел поухоженнее: мне на минуту показалось, что названия складываются в неотчетливую, но странно знакомую музыкальную фразу^{15}: «Гамлет», «La mort d'Arthur»,^[8] «Мост короля Людовика Святого», «Доктор Джекилл и мистер Хайд», «Южный ветер», «Дама с собачкой», «Мадам Бовари», «Человек–невидимка», «Le temps retrouvé»,^[9] «Англо–персидский словарь», «Автор Трикси», «Алиса в стране чудес», «Улисс», «Как покупать лошадь», «Король Лир»...

Мелодия выдохлась и угасла. Я вернулся к столу и начал сортировать

отложенные письма. Письма были в основном деловые, почему я и счел себя вправе их просмотреть. Далеко не все имели отношение к роду занятий Себастьяна. Они были в беспорядке, и многое в них осталось для меня непонятным. Изредка Себастьян сохранял копии своих писем, так что, к примеру, у меня оказался полный текст долгого и азартного диалога между ним и издателем одной из книг. А вот какая-то суетливая особа, да еще из Румынии, хлопочет о подданстве... Еще я узнаю, как расходятся его книги в Англии и доминионах... Ничего особенно блестящего, но по крайней мере одна из цифр вполне недурна. Несколько писем от благожелательных коллег. Один добрый сочинитель, автор единственной, но нашумевшей книги, укоряет Себастьяна (4 апреля 1928 года), что тот «конрадообразен»{16}, и советует, отпустив коня, в будущих произведениях побольше радеть о читателе – идея, по-моему, на редкость глупая.

Наконец, когда связка уже близилась к концу, я нашел, вместе с письмами моей матери и моими собственными, несколько писем от одного из университетских друзей, и, пока я сражался с их страницами (старые письма терпеть не могут, когда их разворачивают), меня вдруг осенило, где будут мои следующие охотничьи уголья.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Университетские годы не были такими уж счастливыми для Себастьяна Найта. Конечно же, многое в Кембридже пришлось ему по нраву{17} – поначалу его просто ошеломили картины, краски, запахи страны своей мечты. В Тринити-колледж его доставил с вокзала настоящий хэнсом-кэб{18} – эта повозка, похоже, только его и дожидалась, отчаянно, вплоть до этой самой минуты противясь неизбежному исчезновению с лица земли, после чего радостно вымерла вслед за бакенбардами и «медной голубяшкой». Уличная слякоть мокро блестела в туманном мраке, вместе со своей заветной противоположностью – чашкой крепкого чая и добрым камельком – рождая гармонию, откуда-то уже известную ему наизусть. Чистые звоны башенных часов то повисали над городом, то накатывались друг на друга и эхом приходили издали. Каким-то странным, подспудно знакомым образом они сочетались с пронзительными выкриками газетчиков. Войдя же внутрь величаво-сумрачного Большого Двора{19}, по которому сквозь туман брели тени в мантиях, а прямо перед ним приплясывал котелок носильщика, Себастьян почувствовал, что непонятно откуда, но ему ведомо каждое ощущение – благотворный запах сырого дерна, древняя звучность каменных плит под каблуком, смазанные очертания темных стен над головой – всё, всё. Это восхитительное чувство подъема держалось, по-видимому, довольно долго, но к нему примешивалось, а позже возобладало, нечто иное. Не желая этому верить (ибо он ждал от Англии больше, чем она могла дать), Себастьян в каком-то беспомощном замешательстве осознал, что как бы мудро и славно ни подыгрывало его новое окружение давним мечтам, сам он, вернее – наиболее драгоценное в нем, обречен

оставаться, как и прежде, в безнадежном одиночестве. Одиночество было лейтмотивом жизни Себастьяна, и чем внимательнее судьба пеклась о его душевном уюте, дивно имитируя исполнение его надуманных желаний, тем острее он сознавал свою неспособность вписаться в картину – в какую бы то ни было. Когда же Себастьян понял это окончательно и принялся угрюмо культивировать собственную застенчивость, словно редкостный дар или страсть, он даже стал находить отраду в самом ее чудовищном разрастании и перестал страдать – правда, уже много позже – из-за своей неуклюжей чужеродности. Поначалу он безумно боялся, что не исполняет всего, что требуется, а еще пуще – что делает это не изящно. Кто-то ему сказал, что твердую, с углами, часть академического клобука полагается сломать либо совсем удалить жесткий квадрат, оставив обвисшую черную ткань. Едва он проделал это, как обнаружил, что впал в худший вид вульгарности – вульгарность новичка, и что безупречный вкус требует от облаченного в мантию и шапочку полного к ним пренебрежения, тем самым безошибочно их низводя до уровня вещей малосущественных, которые иначе осмелились бы претендовать на какое-то значение. Опять-таки, какова бы ни была погода, шляпы и зонты исключались, и Себастьян благочестиво мок и простужался, пока ему не встретился некто Д. У. Горджет, ленивый, беспечный, обаятельный повеса, знаменитый своим буйством, элегантностью и острословием. И этот Горджет хладнокровно расхаживал в обычной шляпе и с зонтиком. Когда пятнадцать лет спустя я посетил Кембридж и услышал все это от ближайшего друга Себастьяна по колледжу (ныне видного филолога), я заметил ему, что буквально у каждого в руках...

– Верно, – сказал он, – зонтик Горджета дал потомство.

– А скажите мне, – спросил я, – как насчет спорта? Себастьян как-то выделялся по этой части?

Мой собеседник улыбнулся.

– Боюсь, – сказал он, – что оба мы едва ли преуспели на данном поприще. Не будем считать нашего с ним щадящего тенниса на сыром, как губка, корте, где в совсем уж безнадежных местах попросту росли маргаритки. Ракета у него, помнится, была самая дорогая, и фланелевый костюм очень ему шел – вид у него вообще всегда был очень ухоженный, зато его подача – это был дамский шлепок, и за мячом он много бегал впустую, а поскольку я и сам от него недалеко ушел, наша игра сводилась главным образом к тому, что мы бегали за своими улетевшими мячами, зелеными и мокрыми, да еще кидали обратно чужие игрокам с соседних кортов. И все это под морозящим дождем. Нет, тут он не преуспел.

– Это его огорчало?

– В каком-то смысле – да. Первый семестр был для него, по сути, отравлен мыслью о своей спортивной неполноценности. Когда он познакомился с Горджетом – а это было у меня, – бедняга Себастьян столько говорил на теннисные темы, что Горджет спросил наконец, верно ли, что в упомянутую игру играют тростью. Это слегка утешило Себастьяна – он догадался, что Горджет, который сразу ему

понравился, тоже не мастак по этой части.

— А на самом деле?

— Ну, он играл в кембриджской команде регби, — может, к теннису у него просто душа не лежала. Так или иначе, Себастьян скоро изжил свой теннисный комплекс. И, в общих чертах...

Мы сидели в неярко освещенной комнате с дубовыми панелями, в таких низких креслах, что не составляло труда дотянуться до чайных приборов, смиренно стоявших на ковре, и дух Себастьяна, казалось, трепещет в такт пламени, играющему на латунных шарах плиты у камина. Мой собеседник знал его так близко, подумал я, что конечно же прав, видя основу Себастьянова чувства неполноценности в его попытках «перебританить» Британию, всегда безуспешных, но неизменно возобновлявшихся, покуда он наконец не понял, что подводят его не какие-то внешние черты, не манерности модного жаргона, но само стремление жить и поступать по образцу других людей, тогда как он приговорен к благодати одиночного заключения внутри собственного «я».

И тем не менее он всячески пытался стать типичным студентом. Надев коричневый халат и старые лакированные туфли, он выходит зимним утром, направляясь за угол в Ванны, в руках мыльница и пакет с губкой. За завтраком в Холле он ест овсяную кашу, серую и нудную, как небо над Большим Двором, и апельсиновый мармелад в точности того же оттенка, как выюнок на стенах Двора. Оседлав свой «велокат» (словечко моего рассказчика), закидывает подол мантии через плечо и крутит педали, направляясь к тому или иному лекционному зданию. Обедал он в «Питте» — насколько я понял, это был клуб, надо думать, с изображениями на стенах скачек и лошадей и со старцами лакеями, загадывающими свою извечную загадку: густого или прозрачного?{20} Он играет в «файвз»{21} (что бы сие ни означало) или в подобную же унылую игру, после чего пьет чай с двумя-тремя приятелями; беседа еле плетется в промежутке между сдобной лепешкой и трубкой — каждый тщательно обходит все, чего не касаются остальные. Могла быть еще лекция—другая перед ужином, потом снова Холл, очень красивая постройка, должным образом мне продемонстрированная. Там в это время подметали, и толстые белые икры Генриха Восьмого так и напрашивались на щекотку.{22}

— А где сидел Себастьян?

— Вон у той стены.

— Как же он туда пробирался? Столы—то чуть не в милю длиной.

— Вставал на внешнюю скамью и переходил через стол. Это был обычный способ, хотя случалось, кто-то наступал на тарелку.

После ужина он возвращается к себе, а может быть, идет с каким-нибудь молчаливым спутником в маленький кинематограф на рыночной площади, где крутят картину о Диком Западе либо Чарли Чаплин деревянными шажками улепetyвает от нехорошего верзилы и на углу

поскальзывается.

И вот, после трех или четырех семестров подобной жизни, с Себастьяном произошла странная перемена. Он перестал радоваться вещам, смаковать которые считал своим долгом, и преспокойно обратился к тому, что его действительно занимало. Внешне эта перемена проявилась в выпадении из ритма студенческой жизни. Он не виделся ни с кем, исключая рассказчика, оставшегося, возможно, единственным человеком в его жизни, кому он открывался, с кем был самим собой. В их дружбе была красота, и я вполне понимаю Себастьяна: сидящий передо мной спокойный гуманитарий показался мне обладателем самой тонкой и благородной души, какую можно себе представить. Оба они интересовались английской литературой, и друг Себастьяна уже тогда обдумывал свою первую работу «Законы литературного воображения», два-три года спустя завоевавшую премию Монтгомери.

— Должен признаться, — сказал он, лаская мягкую голубую кошку с селадоновыми глазами, возникшую из пустоты и удобно устроившуюся у него на коленях, — должен признаться, что в этот период нашей дружбы Себастьян слегка меня замучил. На лекции его нет, иду к нему и вижу: он все еще в постели — свернулся, как спящий младенец, но при этом мрачно курит. Истерзанная подушка усыпана пеплом, а простыня вся в чернильных пятнах и съехала на пол. На мое бодрое приветствие он что-то бурчит, не снисходя до перемены позы, так что, помешкав немного и убедившись, что он не заболел, я шел обедать, после чего заявлялся снова — для того лишь, чтобы увидеть, что он лежит на другом боку, а в качестве пепельницы использует комнатную туфлю. Предложу, бывало, промыслить какой-нибудь еды, поскольку в буфете у него вечно было пусто, и возвращаюсь, скажем, с гроздьё бананов, а он взликует как обезьяна и начнет задирать меня какими-нибудь туманно-безнравственными сентенциями о Боге, Жизни и Смерти. Он их особенно смаковал, видя, что они меня задевают — хотя я их никогда не принимал за чистую монету. Наконец, часа в три или четыре пополудни, он влезает в халат и, волоча ноги, появляется в гостиной, где я его с отвращением оставляю — скорчившегося у камина, скребущего в голове. А назавтра я сижу за работой в своей берлоге и слышу вдруг топот на лестнице, и врывается Себастьян — чистый, свежий, возбужденный, с только что законченным стихотворением.

Все это, согласен, очень близко к образу, а одна подробность меня особенно кольнула. Оказывается, его, Себастьяна, английский язык, свободный и образный, воспринимался все-таки как язык иностранца. Звук «р» в начале слова у него перекачивался и рокотал, он делал забавные ошибки вроде: «Я захватил простуду» или «Этот человек отменный» — разумея под последним, что такой-то славный малый. Он не там ставил ударения в словах типа «статуя» или «библиотека». Он неверно произносил такие имена, как «Аполлон» или «Дездемона». Будучи раз поправлен, он никогда больше не повторял ошибки, но уже сама неуверенность в некоторых словах была для него мучением, и он краснел, как помидор, когда из-за случайного речевого огреха какое-нибудь его высказывание не совсем доходило до бестолкового собеседника. Писал он в то время куда лучше, чем говорил, однако и в стихах его было что-то смутно неанглийское. Правда, сам я никогда их

не видел. Впрочем, предположил его друг, одно-два, быть может...

Он отделался от кошки и стал рыться в ящиках стола, но так ничего и не выудил.

— Может быть, в сундуке, в доме моей сестры, — сказал он неуверенно, — а может быть, и нет... Забвение обожает малых сих, да и Себастьян, я знаю, рукоплескал бы их утрате.

— Кстати, — сказал я, — выражаясь метеорологически, прошлое предстает гнетуще сырым в ваших воспоминаниях, вроде вот сегодняшней погоды (стоял мрачный февральский день). А разве не бывало теплых, солнечных дней? Разве сам Себастьян не вспоминает где-то про «розовые канделябры огромных каштанов» по берегам красивой речушки?

Да, подтвердил он: весна и лето случались в Кембридже почти каждый год (это загадочное «почти» особенно меня порадовало). Да, Себастьян любил побездельничать в ялике на речке Кэм. Но что он больше всего любил, так это катить в сумерках на велосипеде по окаймляющим луга тропинкам. И там, сидя на какой-нибудь полевой ограде и следя, как пряди оранжево-желтых облаков наливаются тусклой медью в бледном вечернем небе, он погружался в мысли. О чем? О той юной нежноволосой простушке, еще с косичками, за которой он однажды увязался на лужку, нагнал, поцеловал — и никогда больше не видел? О форме вон того облака? О солнце, садящемся в дымку за черным русским ельником (ах, много бы я дал, чтобы его посещали такие воспоминания!)? О внутреннем смысле травинки и звезды? О неведомом языке безмолвия? О чудовищном весе капли росы? О рвущей душу красоте морской гальки среди миллионов и миллионов прочих галек, образующих некий смысл — только вот какой? Задавал ли он себе старый, старый вопрос: кто ты? — обращаясь к собственному «я», все менее различимому в сумерках, и к миру Божьему вокруг, которому тебя так никто толком и не представил. А может, мы будем ближе к правде, предположив, что пока Себастьян сидит на этой ограде, мысли его — круговерть слов и вымыслов, недостаточных вымыслов и немощных слов, но он-то знает уже, что в них, и только в них, его подлинная жизнь и что судьба его — там, за этим призрачным полем битвы, которое предстоит пересечь, когда придет час.

— Люблю ли я его книги? О, чрезвычайно. После Кембриджа мы с ним почти не виделись, и он не прислал мне ни одной из своих вещей. Писатели народ забывчивый. Но я как-то взял в библиотеке три его книги и читал их три ночи кряду. Я всегда верил, что Себастьян создаст что-нибудь прекрасное, но не ожидал, что это будет так прекрасно. На последнем курсе... не пойму, что это с кошкой — молока не хочет знать...

Последний кембриджский семестр Себастьян много работал — английская литература тема сложная и запутанная, — но и частенько срывался в Лондон — в основном, безо всяких увольнительных. Его тьютор^{23}, покойный мистер Джефферсон, — по описанию, скучноватый пожилой здоровяк, но тонкий лингвист, упрямо считал Себастьяна русским, а точнее, доводил его до отчаяния, делясь с ним всеми известными ему русскими словами — а вывез он их целую охапку из путешествия в

Москву много лет назад — и требуя обучить его новым. Себастьян, наконец, ляпнул, что это, мол, ошибка, на самом деле он родом не из России, а из Софии, в ответ на что обрадованный старик немедленно заговорил по-болгарски. Запинаясь, Себастьян сообщил, что владеет как раз не этим диалектом, а после просьбы продемонстрировать образчик, не сходя с места, измыслил некий новый говор, крайне озадачивший старого языковеда, которого вдруг осенило, что Себастьян...

— Вы хорошо меня выполоскали, — сказал мой конфиденс с улыбкой. — Мои воспоминания становятся все глупее и пустяковее. Не знаю, стоит ли добавлять, что выпускные экзамены Себастьян сдал на высшие баллы и что нас сфотографировали во всех регалиях — попробую как-нибудь найти снимок и пошлю вам, если хотите. Вам действительно пора? Не хотите ли взглянуть на Задворки{24}? Давайте прогуляемся до крокусов, Себастьян их прозвал грибами стихотворцев — не знаю, вы улавливаете, что он имел в виду?

Но припустил дождь. Минуту-другую мы постояли под навесом крыльца, потом я сказал, что, пожалуй, пойду.

— Подождите, — окликнул меня Себастьянов друг, когда я уже начал было искать проход между лужами. — Совсем забыл. Мастер{25} на днях упоминал, что кто-то прислал ему запрос, действительно ли Себастьян Найт учился в Тринити-колледже. Как же фамилия этого человека? Вот незадача! Моя память дала усадку от стирки. Мы с вами ее знатно отжали, верно? Я понял, во всяком случае, что кто-то собирает материал для книги о Себастьяне Найте. Странно, вы как будто нисколько...

— Себастьян Найт? — внезапно произнес голос в тумане. — Кто говорит о Себастьяне Найте?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Незнакомец, произнесший эти слова, приблизился... о, как жаждал я порой столь легкого поворота в хорошо смазанном романе! и как бы оказалось кстати, если бы голос этот принадлежал какому-нибудь старому бодрячку-преподавателю с длинными, покрытыми пухом мочками ушей и тем прищуром, что свидетельствует о мудрости и юморе... Удобный персонаж, кстати подвернувшийся путник, тоже знававший моего героя — но с какой-то иной стороны. «А теперь, — молвит он, — я вам поведаю истинную историю годов учения Себастьяна Найта». И, не сходя с места, поведал бы. Но увы, ничего такого не произошло. Голос-в-Тумане прозвучал в самом тускло освещенном закоулке моего сознания. Он был лишь эхом какой-то возможной правды, своевременным напоминанием: не будь так легковверен, узнавая о прошлом из уст настоящего. Остерегайся даже самого честного перепродавца. Помни,

что все, что тебе говорится, по сути, тройственно: истолковано рассказчиком, перетолковано слушателем, утаено от обоих покойным героем рассказа. «Кто говорит о Себастьяне Найте?» – повторил голос из глубин моей совести. И правда, кто? Лучший его друг да сводный брат. Отрешенный от жизни кроткий филолог и сбитый с толку путешественник, навестивший далекую страну. А где же арбитр? Мирно истлевает на кладбище Сен-Дамье. Живет, посмеиваясь, в пяти своих томах. Незаметно склоняется поверх моего плеча, покуда я это пишу (хотя, смею утверждать, избитая идея вечности была для него слишком неубедительной, чтобы даже сейчас уверовать в свой собственный призрак).

И все-таки жатву их дружбы я пожал. К сему добавились кое-какие разрозненные факты из очень кратких писем Себастьяна того времени да случайные упоминания об университетской жизни в его книгах. Я вернулся в Лондон, где мною уже был тщательно подготовлен следующий шаг.

В последнюю нашу встречу Себастьян, между прочим, упомянул своего как бы секретаря, которого он между 1930 и 1934 годами время от времени нанимал. Как многие писатели в прошлом и весьма немногие в настоящем (или мы просто не осведомлены о тех, кто не проявляет здоровой напористости в устройстве своих дел), Себастьян был до смешного беспомощным в деловых вопросах, и уж коли находил себе советчика (который мог оказаться мошенником или болваном – или и тем и другим), то с великим облегчением сдавался ему на милость. Полюбопытствуй я случайно, вполне ли он уверен, что Имярек, ныне вершащий его дела, не является попросту навязчивым старым прохвостом, он бы поспешно сменил тему – так его ужасала мысль, что разоблачение чьей-то плутовской сути может принудить его праздное любопытство к каким-то действиям. Словом, он считал, что пусть лучше у него будет самый плохой помощник, чем никакого, и способен был убедить и себя и других, что вполне доволен своим выбором. Говоря так, я хотел бы совершенно ясно заявить, что с юридической точки зрения мои слова диффамацией не являются, а имя, которое я сейчас упомяну, в этом абзаце не фигурирует.

От г-на Гудмэна мне нужны были не столько рассказы о последних годах жизни Себастьяна – в этом я покамест не нуждался, поскольку хотел идти по следу его жизни последовательно, не забегая вперед, – сколько его соображения о том, с какими людьми, знавшими Себастьяна после Кембриджа, мне необходимо повидаться.

Вот почему первого марта 1936 года я нанес визит г-ну Гудмэну в его конторе на Флит-стрит в Лондоне. Позволю себе, однако, прежде, чем изложить наш разговор, немного отвлечься в сторону.

Я уже упоминал, что, разбирая оставшиеся после Себастьяна бумаги, обнаружил в них переписку с издателем по поводу одного из романов. Дело в том, что в «Граненой оправе» (1925), первой книге Себастьяна, один из второстепенных персонажей представлял собой крайне смешную и жестокую карикатуру ныне здравствующего писателя, которого Себастьян считал нужным посечь. Издатель, понятно, сразу же опознал прообраз и почувствовал себя до того неуютно, что посоветовал Себастьяну

изменить весь кусок, от чего тот наотрез отказался, заявив под конец, что издаст книгу в другом месте – что в итоге и сделал.

«Вас, кажется, удивляет, – писал он в одном из этих писем, – с какой это стати я, начинающий автор (так выразились Вы, хоть и не по адресу, ибо тот, для кого это определение справедливо, навек останется начинающим, другие же, вроде меня, расцветают сразу), – Вас удивляет, повторяю (не пускаясь, однако, в извинения за эти прустинские скобки{26}), что мне за охота взять славенького, розовенького, фарфорового современника (ведь Икс и впрямь похож на одну из тех дешевых фарфоровых вещиц, чей вид на ярмарке так и манит предаться звонкой истребительной вакханалии) да и ахнуть его с башни моей прозы в канаву. Вы пишете, что он повсеместно прославлен, что в Германии он так же нарасхват, как на родине, что один его старый рассказ только что попал в «Современные шедевры», что его вместе с Игреком и Зетом рассматривают в ряду ведущих писателей «послевоенного поколения» и, наконец – а может быть, и в первую очередь, – что он опасен как критик. Вы, похоже, намекаете, что всем нам следует хранить черную тайну его успеха, то бишь проезд во втором классе по билету третьего или, если такого сравнения недостаточно, потворство вкусам худшей части читателей – не тех, кто упиваются детективами, благослови, Боже, их чистые души, а тех, кто раскупят последнюю пошлятину, если она сляпана в «современном духе» с приправой Фрейда, или «потока сознания», или уж не знаю чего, но не понимают и не поймут, что эти премилые нынешние циники – попросту племянницы Марии Корелли{27} и племянники старой миссис Гранди{28}. Почему мы должны оберегать эти постыдные секреты? Что за масонский союз во славу убожества или, вернее, без-божества? Долой подложных божков! А Вы мне заявляете вдруг, что моя «литературная карьера» с самого начала непоправимо пострадает из-за нападков на знаменитого и влиятельного писателя. Даже если литературные карьеры существуют, а я был бы дисквалифицирован лишь за то, что пустил своего коня галопом, то и тогда я бы отказался изменить хоть слово из написанного. Потому что, поверьте, никакое неотвратимое наказание не будет настолько суровым, чтобы заставить меня прекратить погоню за удовольствиями, особенно когда я их нахожу на юной и упругой груди Истины. Скажу по чести, немногое в жизни может сравниться с усладой сатиры, и мое удовольствие достигает сладчайшей вершины, стоит мне представить физиономию нашего пустозвона, когда он прочтет (а он прочтет) упомянутый кусок и не хуже нас с вами увидит, что это правда. Хочу добавить, что коль скоро мне удалось передать не только внутренний мир Икса (а это не более чем станция подземки в час наибольшей толчеи), но и выкрутасы его манер и речи, я решительно отмечаю предположение, что он, да и любой другой читатель, отыщет хоть каплю вульгарности в отрывке, вызвавшем у Вас столько тревоги. Так что пусть это больше Вас не беспокоит: помните, вся ответственность, моральная и коммерческая, в случае, если вы из-за моего невинного томика действительно «нарветесь на неприятности», лежит на мне».

Приводя этот отрывок (ценный сам по себе, поскольку показывает Себастьяна в том светлом молодцеватом настроении, которое и позже

подобием радуги пребывало поверх грозового мрака самых беспросветных его сочинений), я делаю это, чтобы уладить довольно щекотливый вопрос. Еще минута–другая – и г–н Гудмэн возникнет перед нами во плоти. Читателю уже известно, сколь бесповоротно я забраковал книгу этого джентльмена. Однако же во время нашего первого (и последнего) разговора я ничего не знал о его труде, если торопливую халтуру можно назвать трудом. Я обратился к г–ну Гудмэну без всякой предвзятости; теперь я полон ею, и это не может не влиять на мое описание. В то же время я не вижу способа изобразить свой визит, не упоминая, хотя бы столь же скупое, как в случае с кембриджским другом Себастьяна, повадок г–на Гудмэна, если не его внешности. Сумею ли я вовремя остановиться? Не высунется ли внезапно гудмэновская физиономия, к обоснованной досаде владельца, когда он будет читать эти строки? Я перечел письмо Себастьяна, и вывод мой таков: то, что по отношению к Иксу мог себе позволить он, мне в отношении г–на Гудмэна заказано. Там, где гений Себастьяна позволял ему быть блистательно–откровенным, я преуспею лишь в грубости. Стало быть, тут я ступаю на тонкий лед и должен, входя в кабинет г–на Гудмэна, делать осмотрительные шаги.

– Садитесь, прошу вас, – сказал он учтиво, указывая на кожаное кресло у своего стола. Он был на диво хорошо одет, хоть и с выраженным столоначальническим привкусом. Лицо его скрывает черная маска.

– Чем могу быть полезен? – продолжал он, глядя на меня в прорези маски и все еще держа мою визитную карточку.

До меня вдруг дошло, что моя фамилия ничего ему не говорит. Себастьян ведь и формально принял фамилию своей матери.

– Я сводный брат Себастьяна Найта, – сказал я. Наступило короткое молчание.

– Позвольте, – спросил г–н Гудмэн, – следует ли это понимать в том смысле, что вы имеете в виду Себастьяна Найта, известного писателя?

– Совершенно верно, – ответил я.

Большим и указательным перстами г–н Гудмэн стал поглаживать свое лицо... То есть, я хочу сказать, лицо под маской. Он поглаживал, поглаживал его сверху вниз, размышляя.

– Прошу меня извинить, – сказал он, – но вы уверены, что тут нет какого–то недоразумения?

– Никакого, – ответил я и возможно меньшим числом слов объяснил свое родство с Себастьяном.

– Ах, вот как? – сказал г–н Гудмэн, впадая во все большую задумчивость. – Право же, право же, мне это никогда не приходило в голову. Разумеется, я знал, что Найт родился и вырос в России. Но я как–то упустил эту подробность с фамилией. Да, теперь понимаю... Да, фамилия должна была быть русской... Его мать...

С минуту г-н Гудмэн барабанил тонкими белыми пальцами по бювару с промокательной бумагой, потом слабенько вздохнул.

— Ладно, сделанного не исправить, — заметил он. — Менять уже поздно... я имею в виду, — заторопился он, — жаль, что я раньше не вошел в этот предмет. Значит, вы его сводный брат? Счастлив познакомиться.

— Прежде всего, — сказал я, — мне бы хотелось уладить деловую сторону. Бумаги господина Найта, по крайней мере связанные с его литературной деятельностью, не в лучшем порядке, и я не совсем понимаю, как обстоят дела. Я еще не встречался с издателями, но знаю, что, по крайней мере, одной фирмы — той, что выпустила «Потешную гору», — больше не существует. Я подумал, что прежде, чем самому входить в эти вопросы, лучше обсудить их с вами.

— Совершенно верно, — сказал г-н Гудмэн. — Кстати, осведомлены ли вы, что я имею долю в двух книгах Найта — «Потешная гора» и «Стол находок»? Ввиду сказанного наиболее целесообразно было бы посвятить вас в некоторые детали — завтра утром я смогу выслать вам все эти сведения почтой, включая копию моего контракта с господином Найтом. Или мне следует называть его господин... — и, улыбаясь под своей маской, г-н Гудмэн попытался выговорить нашу простую русскую фамилию.

— Есть и еще одно обстоятельство, — продолжал я. — Я решил написать книгу о его жизни и трудах и крайне нуждаюсь в некоторых сведениях. Вы не могли бы...

Мне показалось, что г-н Гудмэн оцепенел. Потом он раза два кашлянул и даже зашел так далеко, что извлек из коробочки, лежавшей на его представительном столе, смородиновую лепешку от кашля.

— Дорогой сэр, — сказал он, внезапно поворачиваясь вместе со стулом, отчего его монокль на ленточке кругообразно порхнул. — Будем откровенны до конца. Уж я ли не знал бедного Найта лучше, чем кто бы то ни было, однако... Прошу прощения, вы уже начали эту книгу?

— Нет, — сказал я.

— И не начинайте. Простите мою прямоту. Старая и скверная привычка. Вы на меня, надеюсь, не в обиде? Э-э-э, то, что я имею в виду... как бы это выразиться?... Видите ли, Себастьян Найт не был тем, кого можно назвать очень большим писателем... О да, бесспорно, тонкий мастер и так далее, но лишенный притягательности для широкого читателя. Я не хочу сказать, что о нем нельзя написать книгу. Можно. Но в этом случае ее следует писать с особой точки зрения, которая сделала бы предмет исследования увлекательным. Иначе книгу ждет провал, потому что, видите ли, я не думаю, что известность Себастьяна Найта настолько велика, чтобы вытянуть, так сказать, работу, которую вы задумали.

Я молчал, пораженный этим извержением. Г-н Гудмэн продолжал:

— Уверен, что моя прямота не обидела вас. Ваш сводный брат и я были настолько добрыми приятелями, что вы, право же, должны меня понять. Лучше не надо, дорогой сэр, лучше не надо. Предоставьте это профессионалу, знатоку книжного рынка — он вам скажет наверняка, что всякий, кто возьмется писать исчерпывающее исследование, как вы выразились, о жизни и трудах Найта, только зря потратит свое и читательское время. Да что говорить, даже книга Такого-то о покойном (названо было знаменитое имя), со всеми этими фотографиями и факсимильными воспроизведениями, и та не имела сбыта.

Я поблагодарил г-на Гудмэна за совет и потянулся к шляпе. Я понял, что он — моя осечка, что я устремился по ложному следу. Почему-то я даже не попросил его остановиться на тех днях, когда они с Себастьяном были «добрыми приятелями». Любопытно, что бы он ответил, попроси я рассказать историю его секретарства. Сердечно пожимая мою руку, он вернул мне маску, которую я прячу в карман — она может еще пригодиться. Он проводил меня до стеклянной двери, и мы расстались. Я уже начал спускаться по лестнице, когда меня, нагнав, остановила решительного вида девушка, которую я видел в одной из комнат, где она, не отрываясь, печатала на пишущей машинке. (Занятно — кембриджский приятель Себастьяна тоже меня окликнул.)

— Меня зовут Хелен Прэтт, — сказала она. — Я подслушивала ваш разговор, сколько могла стерпеть, и хочу попросить вас о небольшом одолжении. Клэр Бишоп — моя близкая приятельница. Ей нужно кое-что выяснить. Вы могли бы со мной встретиться на этих днях?

Я ответил, что, конечно же, могу, и мы условились о времени.

— Я довольно хорошо знала господина Найта, — добавила она, глядя на меня яркими круглыми глазами.

— Вот оно что, — выговорил я, не зная, что еще сказать.

— Да, — продолжала она. — Это был поразительный человек, и я готова заявить, что книга Гудмэна о нем мне отвратительна.

— Что вы имеете в виду? — спросил я. — Какая книга?

— Которую он только что написал. Мы с ним на прошлой неделе держали гранки. Ой, мне надо бежать. Благодарю вас.

Она кинулась прочь, а я не торопясь стал спускаться по лестнице. Большое мягкое розоватое лицо г-на Гудмэна обладало (и обладает) замечательным сходством с коровьим выменем. {29}

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Книга г-на Гудмэна «Трагедия Себастьяна Найта» была встречена весьма благосклонно. Ее пространно рецензировали в ведущих газетах и еженедельниках, называли впечатляющей и убедительной. Автора хвалили за «проникновение в глубоко современный характер». Цитировались целые отрывки в доказательство того, что дважды два – сущий пустяк для автора. Хор критиков плел венки тому, кто сам плел только вздор. Короче, г-на Гудмэна хлопали по плечу, вместо того чтобы посечь по заду.

Что до меня, то я оставил бы сей труд без внимания, будь это просто очередная скверная книга, обреченная, не пройдет и года, на забвение вместе с ей подобными. Летейская библиотека, хоть и необозрима, все равно, я уверен, прискорбно неполна без плода усилий г-на Гудмэна. Как бы, однако, сей плод ни был плох, дело этим не исчерпывается. Из-за достоинств своего героя книга автоматически обречена стать спутницей его неумирающей славы. Пока помнят имя Себастьяна Найта, всегда найдется пытливый грамотей, добросовестно карабкающийся по стремянке к тому месту на полках, где «Трагедия Себастьяна Найта» борется с дремотой между «Падением человека» Годфри Гудмэна{30} и «Воспоминаниями о моей жизни» Сэмюэла Гудрича{31}. Поэтому если я продолжаю тянуть все ту же песню, то делаю это ради Себастьяна.

Метод г-на Гудмэна так же несложен, как и его философия. У него лишь одна цель – показать, что «бедняга Найт» был порождением и жертвой явления, именуемого «наше время» (для меня всегда было загадкой, почему люди так склонны навязывать другим свои хронометрические концепции). «Послевоенное смятение», «послевоенное поколение» – это для г-на Гудмэна «Сезам, откройся», которым он отпирает любую дверь. Впрочем, иные магические слова хуже воровской отмычки, и это, боюсь, тот самый случай. Правда, г-н Гудмэн ошибается, когда думает, что, взломав дверь, он куда-то проник. Я вовсе не собираюсь этим сказать, что г-н Гудмэн умеет думать. Дело это ему, как ни старайся, не под силу. Никаких иных идей, кроме доказавших (коммерчески), что они годятся для привлечения убогих умов, в книге нет.

Для г-на Гудмэна молодой Себастьян Найт, «только что покинувший резной кокот Кембриджа», – юноша с повышенной чувствительностью в жестоком и холодном мире. В этом мире «внешняя явь столь грубо вторгается в самые сокровенные мечты», что юная душа пребывает в осаде, покуда не рушится под ее натиском. «Минувшая война, – сообщает, нимало не смущаясь, г-н Гудмэн, – изменила лицо мироздания». Далее со смаком описываются те особые черты послевоенной жизни, с которыми юноша столкнулся «на тревожной заре своего поприща»: с ощущением какого-то грандиозного надувательства; с усталостью души и лихорадочным физическим возбуждением («безвкусо-распутного фокстрота»); с чувством тщеты и, как следствием, со вседозволенностью. Да, еще не забыть про жестокость – в воздухе продолжает носиться запах крови... про ослепительные кинематографические чертоги... парочки, растворяющиеся в сумраке Гайд-Парка... триумф стандартизации... культ машин... упадок Красоты, Любви, Чести, Искусства... и проч. и проч. Удивительно, как самому г-ну Гудмэну, насколько я знаю, сверстнику Себастьяна, удалось выжить в эти ужасные годы.

Как видно, что г-ну Гудмэну здорово, то Себастьяну – смерть. Нам дают полюбоваться, как в 1923 году Себастьян без усталости меряет шагами комнату в своей лондонской квартире после непродолжительной поездки на континент, каковой континент «неописуемо потряс его вульгарными обольщениями своих игорных геенн». Да, он «расхаживал взад и вперед... стискивая виски... в припадке неудовлетворенности... рассерженный на все и вся... одинокий... жаждущий что-то предпринять, но слабый, слабый...». Не примите эти многоточия за тремоло, издаваемые г-ном Гудмэном, – ими отмечены фразы, которые я милосердно опустил. «Нет, – продолжает г-н Гудмэн, – этот мир не создан для художника. Можно, разумеется, щеголять самообладанием и всячески выказывать тот цинизм, что так раздражает в ранних сочинениях Найта и так удручает в двух последних... можно, конечно, напускать на себя высокомерие и сверхтонченность, но тернии от этого не перестанут впиваться – острые, ядовитые...» Уж не знаю почему, но похоже, что присутствие этих вполне мифических терниев доставляет г-ну Гудмэну какое-то гадкое удовлетворение.

Я был бы несправедлив, изображая дело так, будто вся первая часть «Трагедии Себастьяна Найта» сводится к одной густой струе философической патоки. Словесные картинки и анекдоты, наполняющие книгу (начиная со страниц, где г-н Гудмэн добирается до периода жизни Себастьяна, когда знал его лично), имеются и здесь – словно плавающие в сиропе куски твердого печенья. Г-н Гудмэн – не Босуэлл^{32}, хотя и он, без сомнения, вел дневник, куда заносил кое-какие фразы своего работодателя – некоторые из них, как можно заключить, касались и прошлого. Другими словами, нам предлагают вообразить, как Себастьян скажет, бывало, оторвавшись от трудов: «А знаете, дорогой Гудмэн, это напоминает мне один случай много лет назад, когда...» – засим следует некая история. Полудюжины таковых г-ну Гудмэну показалось предостаточно, чтобы заполнить то, что было для него белым пятном – английскую юность Себастьяна.

В первой из них (ее г-н Гудмэн расценивает как чрезвычайно типичную для «послевоенной студенческой жизни») речь идет о том, как Себастьян показывает своей лондонской подружке красоты Кембриджа. «Вот окно декана, – говорит он; затем швыряет в это окно камень и добавляет: – А вот и сам декан». Излишне пояснять, что г-ну Гудмэну натянули нос: этой побасенке столько лет, сколько самому университету.

Послушаем другую. Как-то ночью, во время краткой поездки на каникулы в Германию (в 1921-м? 1922-м?), Себастьян, выведенный из себя кошачьим концертом под окнами, принялся метать в нарушителей тишины различными предметами, включая яйцо. Через некоторое время в дверь постучал полицейский, доставивший все предметы обратно – кроме яйца.

Это из старой (как сказал бы г-н Гудмэн, «довоенной») книги Джерома К. Джерома. Нос натянут вторично.

Следующий эпизод. Говоря о самом первом своем романе (неизданном и уничтоженном), Себастьян поясняет, что в нем шла речь о юном толстяке студенте, который, приехав домой, обнаружил, что мать вышла замуж за его дядю; дядя этот, ушной специалист, – убийца отца нашего

студента.

Г-н Гудмэн не понял шутки.

Четвертый: летом 1922 года у перетрудившегося Себастьяна начались галлюцинации, и ему стал являться особого рода призрак – быстро спускающийся с неба монах в черной рясе.

Чутьочку потруднее: рассказ Чехова{33}.

Пятый...

Впрочем, нам лучше остановиться, иначе г-ну Гудмэну грозит опасность перейти в отряд хоботных. Пусть остается с тем клоунским носом, что благоприобрел на наших глазах. Мне его жаль такого, но поделаться ничего не могу. Если бы он хоть не разжевывал и не размазывал столь занудно, с такими назидательными выводами эти «любопытные происшествия и причуды». Колючий, капризный, чокнутый Себастьян, сражающийся с порочным миром Джагернаутов{34}, локаутов, светских раутов и уж, я не знаю, чего еще... Впрочем, как знать, как знать, что-то во всем этом может быть и есть.

Я стремлюсь к предельной точности и вовсе не желаю упустить пусть даже и крупницы правды только потому, что на каком-то этапе моих разысканий был выведен из себя скверной стряпней... Кто говорит о Себастьяне Найте? Его бывший секретарь. Разве они когда-нибудь были друзьями? Как мы позже убедимся – не были. Есть ли правда в противопоставлении хрупкого, нетерпеливого Себастьяна выдохшемуся и озлобленному миру? Ничуть. Или была между ним и миром иная расселина, трещина, щель? Была.

Достаточно перелистать первые тридцать страниц «Стола находок», чтобы заметить, до какой степени г-н Гудмэн (неизменно, кстати, обходящий все, что не согласуется с главной идеей его завирального творения) погряз в вежливом непонимании Себастьяновых взглядов на мир. Для Себастьяна не существовало ни года 1914-го, ни 1920-го, ни 1936-го, а всегда шел год Первый. Газетные заголовки, политические теории, модные идеи ничем для него не отличались от болтливых наставлений (на трех языках и с ошибками хотя бы в двух) на упаковке мыла или зубной пасты. Пена могла быть густой, а надпись убедительной – но и только. Он мог вполне понять умных и впечатлительных людей, которые теряли сон, узнав о землетрясении в Китае; но ему, Себастьяну Найту, трудно было понять, отчего эти люди не испытывают тех же приступов неисцелимой тоски при мысли о подобном бедствии, но приключившемся столько лет назад, сколько миль от них до Китая. Время и пространство были для него категориями единой Вечности, поэтому сама идея, будто он мог каким-то особым, «современным» образом реагировать на то, что г-н Гудмэн величает «атмосферой послевоенной Европы», глупа донельзя. В мире, куда он пришел, он бывал то счастлив, то несчастен, – подобно путешественнику, который даже страдая от морской болезни успевает восторгаться видами. В каком бы веке Себастьян ни родился, он всегда оставался бы в той же мере доволен и несчастлив, лучезарен и полон дурных предчувствий, как ребенок на детском празднике, время от

времени вспоминающий о завтрашнем походе к дантисту. И причина его неприкаянности состояла не в том, что он, такой нравственный, жил в безнравственном веке (или наоборот – безнравственный в нравственном), не в теснящем душу сознании, что его юность зачала в этой юдоли, где фейерверки слишком часто сменяются похоронами, нет – он просто открыл, что пульсы его внутреннего бытия куда наполненнее, чем у других. Как раз к концу кембриджского периода, а может уже и раньше, он понял, что малейшая его мысль или ощущение всегда, хотя бы на одно измерение, богаче, чем у ближнего, – он мог бы даже кичиться этим, будь в его натуре хоть что-то театральное, но театрального не было, и на его долю оставалось лишь чувство неловкости, какое хрустальный предмет испытывает среди стеклянных, сфера среди кругов (пустяки по сравнению с тем, что он изведаль, посвятив себя литературе).

«Я был, – пишет Себастьян в «Столе находок», – настолько застенчив, что неизменно умудрялся совершить именно тот промах, которого пуще всего норовил избежать. В своих незадачливых попытках перенять цвет окружающей среды я уподоблялся разве что хамелеону–дальтонику. И мне, и другим легче было бы сносить мою застенчивость, если бы она была обычного потливо–прыщавого свойства: множество молодых людей через это проходят, и никто особенно не горюет. Но в моем случае она приобрела признак болезненной тайны, никак не связанной с муками возмужания. Одна из наименее блещущих новизной затей пыточной канцелярии состоит в лишении узника сна. У большинства людей та или иная область сознания пребывает в течение дня в блаженной дремоте: голодный, набрасываясь на жаркое, сосредоточен на нем, а, скажем, не на сновидении семилетней давности про ангелов в черных цилиндрах; у меня же все дверки, створки и ставни ума открыты одновременно и всегда. Почти у всякого мозга есть свое воскресенье, а моему отказано и в сокращенном рабочем дне. Это состояние вечного бодрствования крайне болезненно и само по себе, и по своим последствиям. Всякое обыденное действие, которое я произвожу в порядке вещей, принимает такие усложненные обличья, взбаламучивает такую тучу попутных мыслей – замысловатых, неотчетливых, житейски бесполезных, что я или начинаю увиливать от начатого дела, или, оробев, вконец его запутываю. Как-то раз я пришел для беседы с редактором журнала, который, как мне казалось, мог бы напечатать кое-что из моих кембриджских стихов, однако его своеобразное заикание, соединившись с особой комбинацией углов в картине труб и крыш за окном, вдобавок перекошенной не вполне ровным стеклом, а еще странный затхлый запах в комнате (роз, гниющих в корзине для бумаг?) – все это отправило мои мысли таким долгим, окольным путем, что вместо заготовленной речи я вдруг пустился рассказывать этому дотоле мне неведомому господину о литературных замыслах одного общего знакомого, просившего, как я потом спохватился, никому их не разглашать...

...Зная, как никто другой, опасные причуды своего сознания, я боялся знакомиться с людьми, боялся задеть их чувства или показаться смешным. Но та же черта или червоточина моего сознания, столь мучительная, когда я сталкиваюсь с так называемой практической стороной жизни (хотя, между нами говоря, лесоторговля или книготорговля выглядят и вовсе нереальными при свете звезд),

становится источником восхитительных усад, стоит мне замкнуться в моем одиночестве. Я был бесконечно влюблен в страну, ставшую мне домом, насколько моя натура допускает идею дома; у меня бывали киплингские настроения, бруковские настроения, хаусмановские настроения.{35} Собака–поводырь возле Хэрродса{36} и цветные мелки художника на панели; бурые листья под ногами в Нью-Форесте{37} и ванна из луженого железа, висящая снаружи на черной кирпичной трущобной стене; рисунок в «Панче» и витиеватая фраза из «Гамлета», – все это составляло несомненную гармонию, в которой и для меня приготовлено незримое место. Для меня Лондон моей юности – это память о нескончаемых рассеянных блужданиях, об ослепленных солнцем окнах, вдруг пронзающих сизый утренний туман, или о красивых черных проводах с бегущими по ним дождевыми каплями. Мне кажется, что бесплотными шагами я пересекаю призрачные газоны и танцзалы, где скулит и хнычет гавайская музыка, – и дальше, милыми монотонными улицами с прелестными именами, добираюсь до какой-то теплой норы, где некто, очень близкий самому глубинному из моих «я», съездившись, сидит в темноте...»

Жаль, что г-н Гудмэн не вчитался на досуге в этот кусок, хоть и сомнительно, чтобы он мог ухватить его суть.

Он оказался настолько любезен, что прислал мне экземпляр своей книги. В сопроводительном письме он пояснял с тяжеловесной шутливостью, задуманной как эпистолярный эквивалент добродушного подмигивания, что если он не упомянул о книге во время нашего разговора, то единственно из желания сделать мне чудесный сюрприз. Его говорок, его хохоток, его трескучее острословие – все это работало на образ грубоватого старого друга семьи, нагрянувшего с неоценимым подарком для младшенького. Но актер г-н Гудмэн не слишком хороший. Ведь он и на минуту не верил, что я буду в восторге от его книги или от усердия, с каким он сделал рекламу нашей семье. Ему было понятно с самого начала, что книга – дрянь и что ни ее переплет, ни суперобложка вместе с зазывным кличем на ней, ни даже статьи и отзывы прессы меня не одурачат. Почему он посчитал разумным оставить меня в неведении, не совсем ясно. Уж не решил ли он, что я способен сесть и успеть назло ему накатать собственный увраж, дабы две книги столкнулись лбами?

Я получил от него не только «Трагедию». Получил я и обещанный отчет. Здесь не место обсуждать подобные материи. Я передал его своему поверенному и уже осведомлен о его выводах. Довольно будет сказать, что Себастьяново простодушие в практических делах было использовано самым наглым образом. Никогда г-н Гудмэн не был нормальным литературным агентом. Делая всего лишь коммерческую ставку на книгу, он не принадлежит к этому интеллигентному, честному и работающему сословию. Не будем продолжать; впрочем, я еще не разделался с «Трагедией Себастьяна Найта», или скорее «Фарсом г-на Гудмэна».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Я снова увидел Себастьяна спустя два года после смерти моей матери. Почтовая открытка с видом – вот и все, что я за это время от него получил, если не считать настойчиво поступавших чеков. Унылым серым днем в ноябре или декабре 1924 года я шел по Елисейским полям в сторону площади Звезды, и когда вдруг сквозь витрину хорошо известного кафе увидел Себастьяна, первым моим побуждением, помню, было идти своей дорогой, настолько я был задет мыслью, что, приехав в Париж, он со мной не связался; однако я передумал и вошел. Я увидел отблеск темных волос Себастьяна и склоненное лицо девушки в очках, сидящей напротив него за столиком. Когда я подходил, она как раз закончила читать какое-то письмо и, снимая очки в роговой оправе, с легкой улыбкой протянула его обратно.

– Недурно? – спросил Себастьян, и в этот момент я положил руку на его художавое плечо.

– О, привет, В.! – промолвил он, поднимая взгляд. – Это мой брат. Мисс Бишоп. Садись, располагайся.

Красота ее была неброской – капельку веснушчатая белая кожа, слегка впалые щеки, серо-голубые близорукие глаза и тонкий рот. На ней был серый строгий костюм от портного с синим шарфиком и маленькая треугольная шляпка. Кажется, у нее была короткая стрижка.

– Как раз собирался тебе звонить, – сказал Себастьян не совсем, боюсь, правдиво. – Видишь ли, я тут всего на день – завтра мне надо быть в Лондоне. Что тебе заказать?

Они пили кофе. Клэр Бишоп, хлопая ресницами, порылась в сумочке, нашла носовой платок и приложила сперва к одной розовой ноздре, потом к другой.

– Насморк все сильнее, – сказала она и защелкнула сумочку.

– О, превосходно! – ответил Себастьян на мой традиционный вопрос. – Между прочим, только что закончил роман. Выбрал себе издателя, и, судя по его ободрительному письму, он роман одобряет. Кажется, ему даже нравится название «Дрозд дает сдачи»{38}, но вот Клэр против.

– Считаю, что звучит по-дурацки, – сказала Клэр. – К тому же птица не может давать сдачи.

– Тут намек на детский стишок, который все знают, – пояснил для меня Себастьян.

– Дурацкий намек, – сказала Клэр. – Первое название было куда лучше.

– Не знаю... Грань... Граненая призма, – пробормотал Себастьян. – Не совсем то, чего бы хотелось. Жаль, что Дрозд никому не нравится...

– Заглавие, – сказала Клэр, – должно задавать тон книге, а не рассказывать сюжет.

Это был первый и последний случай, когда Себастьян обсуждал в моем присутствии литературные дела. Редко видел я его и в столь беспечном настроении. Вид у него был свежий и ухоженный, бледное, тщательной лепки лицо с легкими тенями на щеках – он был из породы тех несчастных, кто обречен бриться дважды в день, если вечером предстоит куда-то идти, – не обнаруживало и следа того тускло-нездорового оттенка, так часто ему присущего. Крупноватые, чуть заостренные уши горели – верный признак радостного оживления. Я же был чопорен и косноязычен. Напрасно я к ним полез.

– Не пойти ли нам куда-нибудь? Скажем, в кинематограф? – спросил Себастьян, погружая два пальца в карман пиджака.

– Как ты хочешь, – отозвалась Клэр.

– Гаа-сон! – позвал Себастьян. Я и раньше замечал, что он старается произносить французские слова на манер природного британца.

Какое-то время мы искали под столом и бархатными сиденьями одну из перчаток Клэр. Слабый запах ее духов показался мне приятным. Наконец я обнаружил беглянку – серую, замшевую, на белой подкладке, с бахромчатыми отворотами. Пока нас выпихивали вращающиеся двери, Клэр не спеша ее натянула. Скорее высокая, с очень прямой спиной, изящными лодыжками, в туфлях без каблучков.

– Знаете что, – сказал я, – боюсь, что в кино я с вами пойти не смогу. Страшно жаль, но у меня дела... Может быть... Когда точно ты уезжаешь?

– Сегодня же вечером, – отвечал Себастьян. – Но скоро опять приеду... Глупо было не предупредить тебя заранее. Давай мы хоть немного тебя проводим.

– Вы хорошо знаете Париж? – обратился я к Клэр.

– Моя покупка, – сказала она, останавливаясь.

– А! Ничего, я схожу, – сказал Себастьян и пошел обратно в кафе.

Оставшись вдвоем, мы пошли дальше по широкому тротуару, только очень медленно. Я неловко повторил свой вопрос.

– Да, сносно, – отвечала она. – Я тут прогощу у друзей до Рождества.

– Себастьян замечательно выглядит, – сказал я.

– По-моему, тоже, – Клэр обернулась, потом быстро взглянула на меня из-под ресниц. – А когда я с ним познакомилась, вид у него был конченый.

Вероятно, я спросил: «И когда это было?» — потому что припоминаю такой ответ:

— Этой весной, на каком-то отвратном приеме в Лондоне. Правда, вид у него на приемах всегда конченный.

— Вот твои «бон-бон», [10] — произнес позади нас голос Себастьяна.

Я сказал им, что иду к метро, и мы стали огибать площадь Звезды по часовой стрелке. Едва мы начали переходить авеню Клебер, какой-то велосипедист едва не сбил Клэр.

— Глупышка, — сказал Себастьян, хватая ее за локоть.

— Слишком уж много голубей, — сказала она, когда мы преодолели мостовую.

— Да, — отозвался Себастьян. — И этот запах...

— А чем они пахнут? У меня заложен нос, — спросила она, втягивая воздух и вглядываясь в густую толпу толстых птиц, важно разгуливавших у нас под ногами.

— Ирисами и резиной, — сказал Себастьян.

Рык грузовика, пытавшегося разъехать с мебельным фургоном, вспугнул птиц. Они взметнулись, замельтешили в небе и стали рассаживаться в перламутрово-серых и черных рельефах Триумфальной арки, а когда иные суетливо срывались опять, казалось, что куски резного фриза вдруг превращаются в хлопья трепещущей жизни. Несколько лет спустя в третьей из книг Себастьяна я обнаружил эту зарисовку «камня, переходящего в крыло». Мы пересекли остающиеся авеню и подошли к белым перилам станции метро. Тут мы и расстались, вполне жизнерадостно... Помню удаляющийся дождевик Себастьяна, серо-голубую фигуру Клэр. Она взяла его под руку и переступила, чтобы попасть в ногу с его шагом вразвалку.

И вот теперь я узнал от мисс Прэтт немало такого, что вызвало у меня желание узнать еще больше. Обратилась она ко мне, чтобы выяснить, не нашлось ли в вещах Себастьяна писем от Клэр Бишоп. Она напирала на то, что делает это не по просьбе Клэр, более того, что Клэр не знает о нашем разговоре, поскольку уже три или четыре года замужем и слишком большая гордячка, чтобы говорить о прошлом. Мисс Прэтт виделась с ней примерно неделю спустя после того, как газеты написали о смерти Себастьяна, но, хоть они и старые подруги (то есть каждая знала о другой больше, чем та подозревала), Клэр разговора не поддержала.

— Надеюсь, он не был совсем уж несчастен? — сказала она спокойно и добавила: — Как узнать, берег ли он мои письма?

То, как она произнесла, как сузила глаза, быстрый вздох перед тем, как заговорить о другом, — все это убедило подругу, что для Клэр было бы большим облегчением узнать, что письма уничтожены. Я спросил

у мисс Прэтт, не связаться ли мне с Клэр и можно ли уговорить ее что-нибудь рассказать о Себастьяне. Мисс Прэтт ответила, что, зная Клэр, она не рискнула бы даже передать мою просьбу.

— Безнадежно, — сказала она.

На миг я чуть было не поддался низкому соблазну намекнуть, что письма у меня и я отдам их, если она не откажет поговорить со мной — так страстно хотел я встретиться с Клэр, просто увидеть, как тень имени, которое я назову, пробежит по ее лицу. Но нет, я не могу шантажировать прошлое Себастьяна, об этом не может быть и речи.

— Письма уничтожены, — сказал я и повторил свою просьбу. Я снова и снова говорил, что попытка — не пытка, — ведь передавая наш разговор, она могла внушить Клэр, что визит будет очень коротким, очень невинным.

— А собственно, что бы вы хотели услышать? — спросила мисс Прэтт. — Я ведь тоже многое могу рассказать.

Она довольно долго говорила о Клэр и Себастьяне. Получалось это у нее неплохо, хотя, описывая прошлое, она, как многие женщины, склонялась к некоторой назидательности.

— Вы хотите сказать, — перебил я мисс Прэтт в каком-то месте ее рассказа, — что никто так и не узнал даже имени этой женщины?

— Никто, — сказала мисс Прэтт.

— Так как же мне ее найти? — воскликнул я.

— Вы ее и не найдете.

— Как давно, вы говорите, это началось? — перебил я ее вновь, когда она упомянула о болезни Себастьяна.

— Видите ли, — сказала она, — точно сказать не могу. Приступ, который я видела сама, был не первый. Помню, мы вышли из ресторана. Было очень холодно, он не мог найти таксомотора, нервничал и злился, и уже кинулся к авто, притормозившему чуть поодаль, как вдруг остановился и сказал, что ему нехорошо. Помню, он вытряс из коробочки какую-то облатку и размял в своем белом шелковом кашне, которое прижал к лицу. Было это в двадцать седьмом или в двадцать восьмом году.

Я задал еще несколько вопросов, она столь же добросовестно на все ответила и продолжала свой печальный рассказ.

После ее ухода я все записал, — но слова были мертвы, мертвы. Я просто обязан увидеть Клэр! Чтобы прошлое ожило, мне нужен был (да и просто необходим) сущий пустяк — один взгляд, одно слово, хотя бы звук ее голоса. Я не понимал, в чем тут причина, так же как никогда не смог себе объяснить, отчего в тот незабываемый день несколько недель назад я был так уверен, что если застану умирающего живым и в

сознании, то услышу нечто такое, что не говорилось еще ни одному человеку.

И вот как-то в понедельник я отправился с визитом.

Прислуга провела меня в небольшую комнату. Хозяйка была дома – так, по крайней мере, сообщила мне эта румяная и несколько неотесанная особа (Себастьян где-то упоминает, что, описывая слуганок, английские романисты никогда не отходят от устоявшихся правил). С другой стороны, я знал от мисс Прэтт, что г-н Бишоп по будням трудится в Сити; странно, она вышла за человека по фамилии, как и она, Бишоп, – о, никакого родства, чистая случайность. Может ли она меня не принять? Сравнительное благополучие, сказал бы я, но не более... Во втором этаже, скорее всего, Г-образная гостиная, над ней две спальни. Вся улица состояла из точно таких же узких домов, вплотную прижатых друг к другу. Долго же она раздумывает... Не лучше ли было рискнуть и позвонить сначала? Успела ли мисс Прэтт сказать ей про письма? С лестницы вдруг раздались приглушенные шаги, в комнату валко вошел крупный мужчина в черном халате с багровым кантом.

– Простите мой наряд, – сказал он, – но меня одолел сильнейший насморк. Я – Бишоп, а вы, очевидно, хотите видеть мою жену?

Уж не заразился ли он насморком, мелькнула шальная мысль, от розовоносой хрипловатой Клэр, мелькнувшей передо мной двенадцать лет назад?

– О да, – сказал я. – Если она меня не забыла. Мы когда-то познакомились в Париже.

– Разумеется, она помнит вашу фамилию, – сказал г-н Бишоп, глядя мне прямо в лицо, – но я вынужден сообщить, что она вас принять не может.

– Зайти в другой раз? – спросил я. Повисло молчание, после чего Бишоп спросил:

– Ваш визит как-то связан, вероятно, со смертью вашего брата?

Он стоял передо мной, засунув руки в карманы халата и глядя на меня, светлые волосы зачесаны назад гневным гребнем – достойный, славный человек, – надеюсь, эти слова его не обидят. Могу добавить, что совсем недавно мы обменялись письмами по весьма грустному поводу и этим вполне покончили с любым нерасположением, которое могло примешаться к нашей первой беседе.

– Служит ли это препятствием для нашей встречи? – ответил я вопросом на вопрос. Фраза глупая, не спорю.

– Не встретитесь вы в любом случае, – сказал Бишоп. – Сожалею, – добавил он, чуть смягчаясь, ибо почуял, что я отступаю без боя. – Уверен, что при других обстоятельствах... но, видите ли, жена не большая охотница вспоминать былые дружбы, и вы меня простите, если я

откровенно скажу, что вам не следовало приходить.

Возвращался я с чувством, что все загубил. Я представлял, что бы я сказал Клэр, застань я ее одну. Мне как-то удалось убедить себя, что, если бы мужа не оказалось дома, она бы меня приняла: так непредвиденное препятствие умяет другое, очевидное. Я бы ей сказал: «Не будем говорить о Себастьяне. Поговорим о Париже. Вы хорошо его знаете? А помните тех голубей? Расскажите, что вы читаете? Какие видели фильмы? Вы все еще теряете свертки, перчатки?» Или можно прибегнуть к более дерзкому способу, к прямой атаке: «Да, я знаю, что вы чувствуете, но, пожалуйста, пожалуйста, поговорим о нем. Ради его портрета. Ради мелочей, которые канут и сгинут, если вы откажетесь поделиться ими для моей книги». О, я уверен, она бы не отказала.

И через два дня, настроившись на второй образ действий, я сделал еще одну попытку. На сей раз я решил действовать осмотрительнее. Стояло дивное утро, было сравнительно рано, и я уверил себя, что она не усидит дома. Я займу неприметную позицию на углу, выжду, пока ее муж отправится в Сити, дотерплю до момента, когда выйдет и она, и тогда подойду к ней. Но все вышло совсем не так.

Я еще не дошел до места, как вдруг увидел Клэр Бишоп. Она только что перешла улицу с моей стороны на противоположную. Я сразу ее узнал, хоть видел много лет назад и не более получаса. Я узнал ее, несмотря на заострившиеся черты и странно полное тело. Она медленно и тяжело ступала, и, только поспешив через улицу к ней навстречу, я вдруг понял, что она на поздней стадии беременности. Импульсивное начало в моем характере (вечно заводящее меня куда-то не туда) уже бросило меня с приветливой улыбкой ей навстречу, но за эти краткие мгновенья я вдруг ясно понял, что ни заговорить, ни даже поздороваться с нею мне нельзя. И совсем не из-за Себастьяна или моей книги и не из-за нашей с Бишопом беседы, — нет, все дело было в ее величавой сосредоточенности. Я понял, что мне заказано даже себя обнаружить, но, как я уже сказал, порыв успел перенести меня через дорогу, да так, что, ступая на тротуар, я едва не наскочил на нее. Она тяжело отшагнула и подняла близорукие глаза. Нет, слава Богу, она меня не узнала. Было что-то душераздирающее в серьезном выражении ее бледного, цвета древесных опилок, лица. Мы оба замерли на миг. Со смехотворной находчивостью я выхватил из кармана первое, что подвернулось, и спросил:

— Прошу прощения, это не вы обронили?

— Нет, — сказала она с безучастной улыбкой. Она на миг поднесла этот предмет к глазам. — Нет, — повторила она и, протянув обратно, пошла своей дорогой.

Я стоял с ключом в руке, словно и в самом деле только что нашел его на земле. Это был ключ от квартиры Себастьяна, и тут меня странно кольнуло — я сообразил, к чему она прикоснулась своими невинными, невидящими пальцами.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Их отношения длились шесть лет. За это время Себастьян написал два своих первых романа — «Граненую оправу» и «Успех». Работа над первым заняла у него семь месяцев (с апреля по октябрь 1924-го), на второй ушло двадцать два (июль 1925-го — апрель 1927-го). Между осенью двадцать седьмого и летом двадцать девятого он написал три повести, составившие потом сборник «Потешная гора» (1932). Другими словами, больше половины всего им написанного рождалось на глазах у Клэр (не считая юношеских вещей — например, кембриджских стихов, которые он сам уничтожил), а поскольку в промежутках между названными книгами Себастьян всячески выворачивал в уме тот или иной замысел, откладывал его, чтобы все начать сначала, можно с уверенностью утверждать, что в течение этих шести лет он был постоянно поглощен работой. И Клэр это было по душе.

Она зашла в его жизнь, как забредают в чужую комнату, чуть похожую на собственную, и в ней осталась, позабыв дорогу назад и потихоньку привыкая к непонятным существам, которых там нашла и обласкала, несмотря на их удивительное обличье. Она не ставила перед собой специальной цели стать счастливой или осчастливить Себастьяна, не тревожилась и о завтрашнем дне; жизнь с Себастьяном она воспринимала как нечто совершенно естественное просто потому, что жизнь без него ей труднее было себе представить, чем палатку землянина на лунной горе. Родилась ли у них ребенка, они, весьма вероятно, соскользнули бы в брак, что стало бы простейшим выходом для всех троих; но, оставаясь бездетными, они не догадались исполнить тот чистый и душеполезный обряд, который, когда бы они нашли время о нем подумать, скорее всего доставил бы им обоим только радость. Себастьян был бесконечно чужд всякому передовому вздору из рубрики «долгой предрассудки». Уж он-то знал, что бахвальство презрением к моральным устоям есть не что иное, как переодетый снобизм, предрассудок наизусть. Он обычно избирал простейшие этические пути (точно так же, как самые трудные эстетические) просто потому, что они же были и кратчайшими; в повседневной жизни он был слишком ленив (как одержим трудолюбием в писательской), чтобы погружаться в заботы, преодолевающие прочих.

Клэр было двадцать два года, когда она познакомилась с Себастьяном. Отца она не помнила; отчим после смерти ее матери женился снова, и то отдаленное представление о семье, какое воплощала для нее получившаяся чета, было сродни ветхому софизму о новом топоре на новом топище, — да и была ли надежда — по крайней мере по одну сторону Вечности — найти и снова соединить изначальные части? В Лондоне она жила одна, без усердия посещая художественную школу и изучая — кто бы мог подумать — восточные языки. Людям она нравилась, незаметно располагая к себе нежной приглушенностью черт и негромким, с хрипотцой голосом — незабываемыми, словно она наделена неким таинственным даром — запоминаться: она была мнемогенична, хорошо получалась в памяти. Даже ее великоватые, с заметными костяшками

руки – и те по-своему были прелестны; танцевать с ней, молчаливой и невесомой, было одно удовольствие. Важнее, однако, что она была из тех весьма и весьма редких женщин, которые не принимают мир как нечто само собой разумеющееся, а повседневности не отводят привычной роли зеркала их собственного женского естества. Она обладала воображением, этим особым мускулом души, – воображением необычным, почти мужским. Было у нее и несомненное чувство красоты, которое обнаруживается не столько в связи с искусством, сколько в готовности, например, увидеть над сковородкой нимб или разглядеть сходство плакучей ивы со скай-терьером. Наконец, она была одарена обостренным чувством юмора. Неудивительно, что она так хорошо вписалась в его жизнь.

Уже в первый год их знакомства они проводили вместе уйму времени. Осенью она гостила в Париже, где, подозреваю, он навестил ее не один раз. К тому времени его первая книга уже была закончена. Клэр научилась печатать на машинке, и множество летних вечеров двадцать четвертого обратились для нее в белые листы, заползавшие в каретку, чтобы выкатиться наружу сплошь в черных и лиловых буковках. Вижу, как она стучит по блестящим клавишам взапуски с теплым дождем, шумящим в темных вязах за распахнутыми окнами, а голос Себастьяна, медленный и серьезный («Он не просто диктовал, – сказала мисс Прэтт, – он священнодействовал»), разгуливает по комнате. Большую часть дня он проводил за писанием, но продвижение было столь трудным, что к вечеру редко бывало готово для перепечатки больше двух страниц, но и этим было не избежать переделок, потому что Себастьян имел еще обыкновение пускаться в разгул исправлений; а иногда делал то, чего, смею думать, не сделал бы ни один писатель, – переписывал своим косым неанглийским почерком отпечатанную страницу и диктовал ее наново. Война его со словами была необыкновенно жестока по двум причинам. Первая, общая для писателей его склада, связана с наведением мостов над пропастью, разделяющей мысль и выражение; исступляющая уверенность, что нужные слова, единственные слова ждут в туманном отдалении на другом берегу, а еще neodетая мысль, громко вызывающая к ним через бездну, бьется, дрожа, на этом. Магазины готовых фраз были не для Себастьяна, ибо детища его ума отличались диковинным сложением, а кроме того, он знал, что подлинную мысль вне пригнанных по мерке слов нельзя признать существующей. А значит, пользуясь более точным сравнением, мысль, казавшаяся обнаженной, просто требовала, чтобы стали зримыми ее одежды, неразличимые же издали слова вовсе не были пустыми скорлупками, а только и ждали, чтобы скрытая в них мысль их воспламенила и привела в движение. Порой он ощущал себя ребенком, которому дали спутанный пучок проводов, приказав сотворить чудо иллюминации. И он творил его, часто сам не понимая, как это у него выходит, а бывало, часами терзал провода самым, казалось бы, целенаправленным образом, и все безрезультатно. И Клэр, в жизни не сочинившая ни одной поэтической или прозаической строчки, так хорошо видела (и в этом состоял ее персональный феномен) все перипетии Себастьяновых борений, что выходившие из машинки его слова были для нее не столько носителями присущего им смысла, сколько отмечали изгибы, провалы, зигзаги, которые он одолевал, двигаясь на ощупь вдоль некоей идеальной линии выражения.

Но это еще не все. Так же несомненно, как то, что мы дети одного отца, я знаю, что русским Себастьян владел гораздо лучше и естественнее, чем английским. Я готов поверить, что, пять лет не говорив по-русски, он заставил себя думать, будто забыл этот язык. Но ведь язык живучая тварь, от него просто так не отделаешься. А еще надо помнить, что всего за пять лет до своей первой книги – то есть в пору отъезда из России – его английский был не богаче моего. Годы спустя, за границей, я свои познания усовершенствовал путем упорного ученичества, он же постарался, чтобы его английский расцветал в естественном окружении. Расцвел он на диво, однако, начини он писать по-русски, я уверен, он не знал бы этих родовых лингвистических мук. Хочу добавить: у меня хранится письмо, написанное им незадолго до смерти, и каких бы чудес выразительности ни достигал он в своих книгах, его английский нигде не поднимается до чистоты и изысканности этого краткого русского письма.

А еще я знаю, что Клэр, печатая под его диктовку слова, которые он высвобождал из рукописного хаоса, порой вдруг останавливалась, поднимала, чуть хмурясь, верхушку плененного листа и говорила, перечитав строчку:

– Нет, милый, так по-английски не говорят.

Он секунду-другую на нее глядел, потом возобновлял свое хождение взад и вперед, думая с неудовольствием о ее замечании, пока она кротко ждала, опустив на колени нежные руки.

– Иначе это не выразить, – бормотал он наконец.

– А если, например... – говорила она – и предлагала точное решение.

– Ладно, как хочешь, – отвечал он обычно.

– Я не настаиваю, милый. Как тебе угодно. Если ты считаешь, что можно нарушить грамматику...

– Ладно, – рявкал он, – ты совершенно права. Вперед, вперед...

К ноябрю двадцать четвертого года «Граненая оправа» была окончена. В марте следующего она вышла в свет и полностью провалилась. Проглядев газеты того времени, я нашел всего одно упоминание этой вещи – пять с половиной строчек в воскресном выпуске среди сообщений о других новинках:

«Граненая оправа», очевидно, первая книга писателя и, как таковая, не должна быть судима столь же строго, как чей-то упоминавшийся выше роман. Юмор ее для меня остался темен, а темноты – уморительны, но, может быть, я просто не улавливаю прелесть сочинений такого рода. Впрочем, ради читателей, которым такие вещи нравятся, могу добавить, что г-н Найт такой же мастер излишних тонкостей, как и излишних запятых».

Это была, вероятно, самая счастливая весна в жизни Себастьяна. Он освободился от одной книги и чувствовал уже биение следующей. Он был совершенно здоров. У него была чудесная подруга. Его оставили мелкие заботы, прежде регулярно ему досаждавшие с упорством орды муравьев, заполнивших гасиенду. Клэр отправляла его письма, проверяла белье из прачечной, следила, чтобы у него не переводились лезвия, табак и соленый миндаль (его особая слабость). Он любил с ней где-нибудь пообедать, а потом отправиться в театр. От пьесы он потом почти неизменно стонал и корчился, хотя анатомирование банальностей доставляло ему некое мрачное удовольствие. Стоило ему высмотреть какой-нибудь бедный трюизм, как выражение алчности, злорадного азарта тотчас округляло его ноздри, зубы начинали скрежетать в пароксизме отвращения. Мисс Прэтт припомнила случай, когда ее отец, одно время имевший финансовые интересы в кинопромышленности, пригласил Себастьяна и Клэр на приватный просмотр одного крайне пышного и дорогого стоившего фильма. Главную роль исполнял редкостный красавец в роскошном тюрбане, да и сюжет был закручен на славу. В миг наивысшего напряжения Себастьяна, к крайнему удивлению и раздражению господина Прэтта, начал разбирать смех, а Клэр, тоже давясь от хохота, тщетно тянула его за рукав, пытаясь остановить. Наверное, им было очень хорошо друг с другом. Трудно поверить, что нежность, теплота и прелесть их отношений не сберегается где-то, как-то, каким-то бессмертным свидетелем смертной жизни. Их можно было видеть бродящими по Кью-Гарденз или Ричмонд-парку{39} (сам я не был ни там, ни там, но мне приятны их названия) или уплетающими яичницу с ветчиной в какой-нибудь славной таверне в пору их летних сельских блужданий, или – вот они за чтением, на просторном диване в Себастьяновом кабинете; весело горит камин, и английское Рождество уже наполняет воздух слабыми ароматами пряностей на подкладке лаванды и кожи. И можно было, наверное, подслушать, как Себастьян рассказывает ей обо всем том удивительном, что попытается выразить в своей следующей книге под названием «Успех».

Как-то раз летом двадцать шестого года Себастьян, выжатый и вымотанный сражением с одной особенно непокорной главой, решил, что не худо бы месяц отдохнуть за границей, Клэр, которую дела держали в Лондоне, сказала, что присоединится к нему через неделю-другую. Когда она наконец приехала на морской курорт в Германии, на котором Себастьян остановил свой выбор, в гостинице ей неожиданно объявили, что он уехал, куда – неизвестно, но должен через два дня вернуться. Это озадачило Клэр, хотя, как она потом говорила мисс Прэтт, чрезмерной тревоги не вызвало. Представим себе высокую худощавую фигуру в синем макинтоше (погода хмурая и неприветливая), бесцельно бредущую по променаде, песчаный берег пуст, если не считать нескольких неунывающих мальчишек, трехцветный флаг скорбно полощется под выдыхающимся бризом, и серо-стальное море там и здесь вскипает султанами пены. Дальше по берегу тянулся буковый лес, густой, без просветов, без всякого подлеска – за вычетом вьюнка, заткавшего неровную коричневую землю, и странная коричневая тишина была выжидающе разлита среди прямых и гладких стволов. Клэр подумала, что в сухих листьях овражка вот-вот увидит немецкого гнома в красной шапке, весело глядящего на нее. Она извлекла купальные принадлежности и провела приятный, хоть и немного вялый день, лежа на мягком белом песке. Наутро снова пошел дождь, и она до обеда

оставалась в своей комнате, читая Донна{40}, с тех пор для нее неотделимого от сырого бледно-серого туманного дня и от хныканья ребенка, которого не пускали играть в коридор. И вот появился Себастьян. Он явно ей обрадовался, но что-то было в его поведении не до конца естественное. С нервным и встревоженным видом он отворачивался, когда она пыталась поймать его взгляд. Он сказал, что встретил человека, которого давным-давно знал в России, и они отправились на его машине – он назвал место в нескольких милях по побережью.

– Так что же все-таки, милый, стряслось? – спросила она, всматриваясь в его мрачное лицо.

– Да ничего! – сварливо закричал он. – Просто я не могу сидеть без дела, я хочу вернуться к работе, – добавил он и отвернулся.

– Не уверена, что ты говоришь мне правду, – сказала она.

Он пожал плечами и ребром ладони прошелся по вмятине шляпы, которую держал в руке.

– Ладно, – сказал он, – давай позавтракаем и сразу едем в Лондон.

Но удобного поезда не было до вечера. Погода прояснилась, и они вышли прогуляться. Себастьян раз-другой попытался, по своему обыкновению, дурачиться, но веселье как-то выдохлось, и они умолкли. Они дошли до букового леса. Там витал тот же дух тревожного таинственного ожидания, и, хотя она промолчала, что была здесь накануне, он заметил:

– Что за странная здесь тишина. Жутковато, правда? Так и кажется, что в этих вьюнках и сухих листьях прячутся эльфы.

– Послушай, Себастьян, – воскликнула она вдруг, кладя ему руки на плечи. – Я хочу знать, что случилось. Может, ты меня разлюбил. Это так?

– Глупости, дорогая, – отвечал он чистосердечно, – но, наверное, ты должна это знать... как видно, я плохой обманщик, и лучше, пожалуй, тебе знать. Дело в том, что у меня тут приключилась ужасная боль в груди и предплечье, вот я и решил съездить в Берлин к врачу. А он уложил меня в постель... Насколько серьезно?... Надеюсь, не очень. Мы с ним поговорили о коронарных артериях, кровоснабжении и синусах аорты. По-моему, он – знающий старикашка. В Лондоне пойду к другому врачу, послушаю другое мнение. Между прочим, сейчас я чувствую себя хоть куда...

Думаю, Себастьян уже знал, что у него за сердечная болезнь. Мать его умерла от того же недуга, довольно редкой разновидности грудной жабы, которую некоторые врачи называют «болезнью Лемана». Похоже, однако, что после первого приступа он получил целый год передышки, хотя время от времени испытывал словно бы болезненный зуд внутри левого предплечья.

Он снова засел за работу и всю осень, весну и зиму упорно трудился. «Успех» шел еще труднее, чем первый роман, и занял гораздо больше времени, хотя обе книги примерно одного объема. Удача мне улыбнулась – я располагаю свидетельством из первых рук о дне, когда «Успех» был окончен. Им я обязан лицу, с которым познакомился позже – кстати, многие набросанные в этой главе картины родились из сопоставления рассказов мисс Прэтт с тем, что говорил этот человек, хотя искра, все это воспламенившая, каким-то загадочным образом вспыхнула в тот миг, когда я увидел Клэр, тяжело бредущую по лондонской улице.

Распахивается дверь, являя Себастьяна Найта, распростертого на полу в своем кабинете. Клэр складывает на столе аккуратную кипу отпечатанных страниц. Вошедший оторопело останавливается.

– Да нет, Лесли, – с пола говорит Себастьян. – Я жив. Я закончил сотворение мира, – это мой субботний отдых.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

«Граненая оправа» была по достоинству оценена только после того, как первый настоящий успех Себастьяна побудил другое издательство («Бронсон») выпустить заново этот роман, но даже тогда он расхodziлся хуже, чем «Успех» или «Стол находок». Для дебюта он примечателен незаурядностью художественной воли и писательского самообладания.

Чтобы взлетать в высшие сферы серьезных чувств, Себастьян, по своему обыкновению, пользуется пародией, как подкидной доской. Дж. Л. Коулмэн называет его «не то клоуном, у которого вдруг вырастают крылья, не то ангелом, который прикинулся почтовым голубем», – эти метафоры, по-моему, вполне уместны. «Граненая оправа» взмывает, отталкиваясь от тонко пародируемых штампов литературной кухни. С ненавистью, достойной фанатика, Себастьян Найт вечно выискивал живых мертвецов – приемы, когда-то сиявшие и поражавшие свежестью, а теперь затертые до дыр, – подновленную и загримированную под жизнь мертвечину, которую по-прежнему готовы поглощать ленивые умы, пребывающие в блаженном неведении обмана. Сам по себе такой подпорченный прием мог быть вполне невинным, и многие, конечно, скажут, что невелик грех – снова и снова обращаться к изношенному вконец сюжету или стилю, если они все еще развлекают и радуют публику. В глазах Себастьяна, однако, даже совершеннейший пустяк, вроде, скажем, отработанного способа построения детективной повести, оборачивался распухшим зловонным трупом. Он ничего не имел против грошовых боевиков – расхожая мораль его не заботила, но что его неизменно раздражало, это не третий и не двадцатый, а именно второй сорт, ибо тут-то, на «приличном» уровне, и начинался обман, аморальный с точки зрения художественной. При этом «Граненая оправа» – не просто беззаботная пародия на привычный детективный декор, это еще и злая имитация множества других литературных обрядов –

например, модного фокуса, который Себастьян со своим обостренным чутьем на тайную гнильцу подметил в современном романе: суть его в том, чтобы собрать разношерстную публику на небольшом пространстве{41} (гостиница, остров, улица). По ходу книги пародируются, кроме того, разнообразные литературные стили и, наконец, та проблема стыка повествовательной и прямой речи, с которой изящное перо расправляется, находя столько вариантов формулы «сказал он», сколько их есть в словаре между «ахнул» и «язвительно добавил». Но для автора, повторяю, весь этот приглушенный юмор не более, чем трамплин.

Двенадцать человек живут в пансионе. Сам дом описан очень подробно, но, чтобы подчеркнуть «островной» оттенок, остальная часть города дается мимоходом, как помесь натурального тумана с неким предварительным гибридом, полученным от скрещивания сценических декораций с кошмарным сном торговца недвижимостью. Сам автор дает понять (косвенно), что его приемы сродни кинематографическим, когда героиня фильма вдруг переносится в немыслимые пансионные годы во всем своем блистательном отличии от незатейливых, вполне реалистических однокашниц.

Один из жильцов, некто Г. Эбсон, торговец антиквариатом, найден убитым в своей комнате. Полицейский, обрисованный исключительно посредством сапог, звонит лондонскому сыщику и просит немедленно приехать. Из-за стечения обстоятельств (автомобиль, на котором он мчится, сбивает старушку, после чего он садится не в тот поезд) сыщик сильно задерживается. Тем временем ведется тщательный допрос обитателей пансиона, а также прохожего, старика Носбэга, который, когда преступление обнаружилось, как раз случился в вестибюле. Все они, кроме последнего – кроткого белобородого старца с желтизной вокруг рта, преданного безобидной страсти – коллекционированию табакерок, – более или менее под подозрением, особенно скользкий студент – историк искусства, под чьей кроватью находят полдюжины перепачканных кровью носовых платков. Между прочим, ради простоты и «густоты» действия автор ни словом не упоминает гостиничную прислугу, и никому нет дела до ее несуществования. Тут происходит небольшой плавный толчок, и что-то в повествовании начинает сдвигаться (напомним, что сыщик все еще в пути, а на ковре лежит коченеющий труп Г. Эбсона). Постепенно выясняется, что все постояльцы так или иначе друг с другом связаны. Старая дама из третьего номера оказывается матерью скрипача из одиннадцатого. Романист, занимающий комнату на фасадной стороне, – в действительности муж молодой особы из комнаты на третьем этаже окнами во двор, а скользкий студент – историк искусства ей приходится братом. Обнаруживается, что импозантный круглолицый господин, такой со всеми учтивый, – дворецкий привередливого старика полковника, который сам не кто иной, как отец скрипача. Следующая стадия переплавки: студент помолвлен с маленькой толстушкой из пятого номера, дочерью старой дамы от предыдущего брака. И когда выясняется, что спортсмен, чемпион по теннису среди любителей из номера шестого – брат скрипача, романист – их дядя, а старая дама из третьего – жена сварливого полковника, невидимая рука стирает цифры с дверей, и мотив пансиона безболезненно и гладко переходит в мотив загородного дома со всем, что из этого следует. И тут рассказ

приобретает некую особую прелесть. Временная перспектива, которая и так уже выглядела комично из-за потерявшегося в ночи сыщика, окончательно сворачивается в клубок и засыпает. С этого момента жизнь персонажей расцветает подлинным человеческим содержанием, а запечатанная дверь ведет теперь не в комнату Г. Эбсона, а в заброшенный чулан. Проклевывается и выходит на свет новый сюжет, совсем другая драма, никак не соединенная с завязкой, отброшенной обратно в царство снов. Однако, едва читатель начинает осваиваться в ободряющей обстановке реального мира, и ему кажется уже, что благословенный поток дивной прозы указывает на прекрасные и возвышенные намерения автора – раздается нелепый стук в дверь и входит сыщик. Мы опять увязаем в пародийной тине. Сыщик, хитрый малый, злоупотребляет просторечием – как будто нарочно для того, чтобы казаться нарочитым, ибо это пародия не на Шерлока Холмса в пик моды, а на сегодняшних его потомков. Возобновляется допрос постояльцев. Намечаются новые нити. Тут же топчется кроткий старина Носбэг – сама безобидность и рассеянность. Он объясняет, что просто зашел тогда узнать, нет ли свободного номера. Похоже, что автор вот-вот прибегнет к старому трюку – злодеем кажется самый на вид безобидный персонаж. Сыщик вдруг проявляет интерес к табакеркам. «Алё, – он говорит, – вы никак по скусству?» С грохотом вваливается красный как рак полицейский, он докладывает, что труп исчез. Сыщик: «Это как так – счез?» Полицейский: «Исчез, сэр, в комнате его нет». Минута неловкого молчания. «Мне кажется, – спокойно говорит старина Носбэг, – я смогу кое-что объяснить». Медленно и аккуратно он снимает бороду, седой парик и темные очки, и перед нами предстает Г. Эбсон. «Видите ли, – говорит мистер Эбсон с виноватой улыбкой, – не очень-то хочется быть убитым».

Я пытался по мере сил хотя бы отчасти приоткрыть пружины этой книги, хотя ее юмор, очарование и убедительность в полной мере можно оценить только при чтении. Однако, к сведению тех, кто запутался в этих бесконечных метаморфозах или разозлился, столкнувшись с чем-то небывалым по новизне, а стало быть, несовместимым для них с понятием «хорошая книжка», следует сказать, что каждый ее персонаж, выражаясь весьма приблизительно, – лишь воплощение того или иного писательского приема. Это все равно, как если бы художник сказал: «Смотрите, я вам сейчас покажу картину, изображающую не пейзаж, а несколько способов его изображения, я верю, что гармоническое их сочетание заставит вас увидеть пейзаж таким, как я хочу». В своей первой книге Себастьян довел этот опыт до логического и убедительного конца. Сводя разные литературные манеры *ad absurdum* и потом их одну за другой отвергая, он создал свой собственный стиль, в полной мере разработанный им в следующей книге «Успех». Здесь он уже перешел на новый уровень, поднявшись ступенькой выше, ибо если первый его роман строится на пародировании различных литературных приемов, то второй – на изучении тех приемов, которыми пользуется человеческая судьба. Классифицируя, частично отбрасывая и с научной точностью исследуя колоссальный материал (писателю доступный благодаря постулату, что недостижимых для него сведений о героях не существует, – единственное ограничение вводится характером и целью отбора, чтобы строгое и систематическое дознание не подменялось сваливанием в кучу незначущих признаков), Себастьян на трехстах страницах «Успеха» ведет одно из сложнейших исследований, известных

в истории литературы. Мы узнаем, что некий Персиваль К{42}., коммивояжер, в некий момент своей жизни встречается при неких обстоятельствах девушку – ассистентку фокусника, с которой ему суждено вечное счастье. На первый взгляд их встреча происходит случайно: бастуют водители автобусов, и какой-то участливый незнакомец подвозит их обоих на своем автомобиле. Формула найдена: реальное событие, само по себе никакого интереса не представляющее, становится, стоит только на него взглянуть под особым углом, источником острого умственного наслаждения. Задача автора – установить, как удалось эту формулу вывести, и вся сила и магия его искусства идут на то, чтобы в точности определить, каким образом приведены к слиянию две линии жизни, – книга, таким образом, превращается в блистательную игру обусловленностями или, если угодно, в изучение причинных тайн беспричинных событий. Шансы неограниченны. По нескольким очевидным линиям следствие ведется с переменным успехом. Двигаясь назад, писатель устанавливает, почему забастовку назначили именно на этот день – выясняется, что все дело в слабости, которую один политик с детства питает к числу девять. Из этого открытия ничего не следует, и данный след брошен (но не ранее, чем мы насладились пылкими профсоюзными спорами). Другой ложный след оставил после себя автомобиль незнакомца. Мы пытаемся выяснить, кто этот человек и почему в такой-то момент ехал по такой-то улице, но то, что он уже лет десять ездит по ней на службу в одно и то же время, ровно ничего не проясняет. Приходится поэтому предположить, что внешние обстоятельства встречи – это не образчики деятельности судьбы по отношению к двум лицам, а некая целостность, существующая величина, не имеющая причинной ценности, а раз так, мы с чистой совестью можем наконец заняться вопросом, почему из всех людей на свете были выбраны и на мгновение поставлены рядом на тротуаре именно эти двое – К. и девушка по имени Анна. Некоторое время мы движемся вспять вдоль линии ее судьбы, потом сопоставляем данные и снова поочередно следим за их судьбами.

Мы узнаем много любопытного. Обе линии, сходящиеся в конце концов в вершине конуса, менее всего похожи на стороны треугольника, прилежно расходящиеся к неведомому основанию, – линии эти извилисты, они то почти соприкасаются, то разбегаются прочь. Иначе говоря, в жизни этих двоих было самое малое два эпизода, когда они едва разминулись, ничего об этом не ведая. Оба раза судьба, кажется, шла на все, предуготовлявая им встречу, – шлифовала возможные варианты, подновляла указательные стрелки, а выходы перекрывала, ползучим движением обхватывала сетку сачка с бьющимися внутри бабочками – каждую мелочь рассчитывала, ничего не оставляя на волю случая. Разоблачение всех этих тайных приготовлений захватывает дух – чтобы не упустить такое богатство мест и обстоятельств, автору надо быть поистине многоочитым, как Аргус. Но каждый раз ничтожная ошибка – пробегающая трещинка, чья-то своевольная прихоть, стоп-кран неучтенной возможности – отравляет удовольствие детерминисту, и опять две жизни разбегаются все быстрее и быстрее. Так Персиваль К., которого в последнюю минуту жалит в губу пчела, из-за этого не попадает на вечеринку, куда судьба, преодолев бесчисленные препятствия, доставляет Анну; так и Анну, некстати проявившую строптивость, не берут на старательно приготовленную для нее должность в Столе находок, где уже служит брат К. Но судьба слишком

упряма, чтобы ее могли сломить неудачи, — она добивается наконец успеха, и добивается путем таких тонких козней, что окончательное соединение происходит без малейшего щелчка.

Я не буду дальше вдаваться в детали этой восхитительной и умной книги — самой известной из всего написанного Себастьяном Найтом, хотя позднейшие три романа ее во многом превосходят. Как и в случае с «Граненой оправой», единственная моя цель здесь — рассказать о механизмах этой книги, даже если это идет в ущерб представлению о том, как она хороша, и, помимо всех ухищрений, хороша сама по себе. Добавлю, что в ней есть место, странным образом настолько связанное с внутренней жизнью Себастьяна в период, когда он заканчивал последние главы, что его стоит выписать хотя бы для контраста с наблюдениями, рисующими скорее сложные ходы мысли писателя, чем эмоциональную сторону его дара.

«Проводив ее, как обычно, до дому, Ив (первый жених Анны, чудаковатый и немного женственный, который потом ее бросил) обнял ее в темноте подъезда. Внезапно она ощутила, что у него мокрое лицо. Он прикрыл его ладонью и стал искать в кармане платок. «Дождик в раю, — проговорил он, — счастье луковое... стал волей-неволей бедный Ив плакучей ивою». Он поцеловал ее в уголок рта, потом высморкался с негромким хлюпающим звуком. «Взрослые люди не плачут», — сказала Анна. «А я и не взрослый, — всхлипнув, ответил он, — месяц ребячится, мокрая мостовая ребячится, любовь — вообще малютка, мед посасывает...» — «Перестань, пожалуйста, — сказала она. — Ты же знаешь, я терпеть не могу, когда ты начинаешь подобные разговоры. Это так дурачки наивно, так...» — «—ивно», — вздохнул он. Он снова ее поцеловал, и некоторое время они стояли, словно расплывающаяся в темноте статуя о двух туманных головах. Прошел полицейский, ведя на поводке ночь, дал ей обнюхать столбик с почтовым ящиком. «Я не меньше тебя счастлива, — сказала она, — но я же не плачу и не говорю глупостей». — «Но разве ты не понимаешь, — прошептал он, — что счастье — это, в лучшем случае, пересмешник собственной смерти?» — «Спокойной ночи», — сказала Анна, ускользая из его объятий. «Завтра в восемь», — прокричал он ей вслед. Он ласково погладил дверь и вышел на улицу. «Красивая, нежная, — бормотал он в раздумье, — я ее люблю, но что толку, если мы все равно умрем. Не вынести мне этого обратного течения времени. Наш последний поцелуй уже умер, а «Женщина в белом» (фильм, который они смотрели в тот вечер) вообще окоченела, и полицейский, что мимо шел, тоже умер, и дверь мертва до гвоздей. И эта мысль успела почить. Прав Коутс (доктор), что у меня слишком маленькое сердце для моего веса. И моего беса». Он продолжал брести, разговаривая сам с собой, а тень его то вытягивалась, то приседала в реверансе, скользя по окружности вокруг фонарного столба. Дойдя до своего унылого пансиона, он долго взбирался по темной лестнице. Прежде чем лечь спать, он постучался к фокуснику. Старичок стоял в одном белье, внимательно разглядывая пару черных брюк. «Ну как?» — спросил Ив. «Не нравится им, вишь, мой выговор, — отвечал тот, — да, думаю, все одно они меня в программу вставят». Ив присел на кровать. «Вам бы волосы покрасить», — сказал он. «Не такой я седой, как лысый», — отвечал фокусник. «Я вот иногда думаю, — сказал Ив, — куда деваются волосы, когда вылезают, ногти и все остальное — ведь где-то они должны существовать?» — «Опять напился»,

— предположил фокусник без особого интереса. Он аккуратно сложил брюки и согнал Ива с кровати, чтобы расстелить их под матрасом. Ив пересел на стул. На икрах у фокусника топорщились волоски; поджав губы, он ласковыми движениями легких рук укладывал брюки. «Просто я счастлив», — сказал Ив. «Не похоже», — мрачно заметил старичок. «Можно я вам кролика куплю?» — спросил Ив. «Напрокат возьму, коли надобно будет», — ответил тот, протягивая «коли надобно», как бесконечную ленту. «Смешная профессия, — сказал Ив, — шурум-бурум, будто у спятившего карманника. Что побирушка с шапкой медяков, что ваш цилиндр с глазуньей. Одинаково до глупости». — «К оскорблениям мы привычные», — сказал фокусник. Он спокойно выключил свет, и Ив выбрался ощупью. Книги на кровати в его комнате, кажется, не желали сдвигаться с места. Раздеваясь, он представил себе залитую солнцем прачечную: пунцовые запястья, вынырывающие из голубой воды, — блаженное, запретное виденье. А может, он попросит Анну выстирать ему рубашку? А он действительно опять ее рассердил? А она в самом деле верит, что они когда-нибудь поженятся? Невинные глаза, под ними бледные мелкие веснушечки на блестящей коже. Правый передний зуб чуть выдается вперед. Нежная теплая шея. Он снова почувствовал прилив слез. Будет ли с ней то же, что с Маей, Юной, Юлией, Августой и прочими его романами, от которых не осталось и угольков? Он слышал, как танцовщица в соседней комнате запирает дверь, умывается, со стуком ставит кувшин, мечтательно откашливается. Что-то со звоном упало. Захрапел фокусник».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Я быстро приближаюсь к поворотному пункту внутренней жизни Себастьяна, и когда готовая часть работы видится мне в тусклых отблесках еще предстоящего труда, делается не по себе. Удалось ли мне до сих пор сохранять в рассказе о жизни Себастьяна обещанную мной беспристрастность, удастся ли мне это в заключительной части? Изнуряющая борьба с чужим языком и полное отсутствие литературного опыта не располагают к особой самоуверенности, но даже если я в предыдущих главах со своей задачей не справился, я все равно полон решимости продолжать, тайно уверенный, что тень самого Себастьяна каким-то особым, ненавязчивым образом пытается мне помочь.

Я получал, однако, и более явную помощь. Поэт П. Дж. Шелдон, который между 1927 и 1930 годами часто виделся с Клэр и Себастьяном и которого я навел на вскоре после своей странной полувстречи с Клэр, любезно согласился рассказать мне все, что ему известно. Он же спустя два-три месяца, когда я уже приступил к этой книге, поведал мне о судьбе бедняжки. Как случилось, что ее, молодую и на вид здоровую женщину, подстерегала смерть от кровотечения у пустой колыбели? Он говорил, в каком она была восторге, когда роман «Успех» оправдал свое название — успех был на этот раз настоящий. Всегда будет загадкой, почему одна прекрасная книга получает заслуженные

лавры, а другая, не менее прекрасная, проваливается. Как и с первым своим романом, Себастьян пальцем не шевельнул, чтобы потянуть за нити, которые обеспечили бы «Успеху» и приветственные крики, и бурные рукоплескания. Когда бюро газетных вырезок начало осыпать его образчиками хвалы, он не только на них не подписался, но не стал рассылать и благодарственных писем доброжелательным критикам. Себастьян находил неуместным и даже оскорбительным выражать признательность тому, кто отзывается о книге, выполняя свой долг, и тем подмешивать к холодающей невозмутимости беспристрастного суда тепловатую «человечность» отношений. Более того, единожды начав, он вынужден был бы уже благодарить и благодарить за всякую строчку, чтобы не обидеть критика внезапной забывчивостью, и эта влажная расслабляющая теплота привела бы в конце концов к тому, что, несмотря на всем известную честность того или иного критика, благодарный автор никогда, никогда уже полностью, не был бы уверен, что в тот или иной отзыв не прокралась на цыпочках личная симпатия.

Слава в наше время стала слишком обычным явлением, чтобы спутать ее с ореолом, не меркнущим вокруг настоящей книги. Чего именно заслуживал Себастьян, Клэр не интересовало – она хотела наслаждаться его успехом. Ей хотелось видиться с людьми, желавшими видеть Себастьяна, – он с ними видиться решительно не хотел. Ей хотелось слышать, как люди обсуждают «Успех», – Себастьян заявлял, что его эта книга больше не интересует. Ей хотелось, чтобы Себастьян вступил в какой-нибудь литературный клуб и общался с другими писателями, – Себастьян раз или два влезал в накрахмаленную рубашку, чтобы потом ее скинуть, так и не проронив ни единого слова на обеде, устроенном в его честь. Он неважно себя чувствовал. Он плохо спал. На него находили безумные припадки гнева – для Клэр это было новостью. Как-то раз, когда он работал в своем кабинете над «Потешной горой», пытаясь не сойти с крутой и скользкой тропинки, вьющейся меж темных утесов невралгической боли, вошла Клэр и самым кротким голосом спросила, готов ли он принять посетителя.

– Нет, – ответил Себастьян, скалясь над только что написанным словом.

– Но ты сам ему назначил в пять и...

– Ну, ты своего добила!.. – взревел Себастьян, швыряя вечное перо в потрясенную белизну стены. – Дай ты мне поработать спокойно! – загремел он с такой силой, что П. Дж. Шелдон, игравший перед этим в шахматы с Клэр в соседней комнате, поднялся со своего места и прикрыл дверь в гостиную, где скромно дожидался маленький смирный человек.

Время от времени на него накатывали приступы безудержной проказливости. Однажды, когда у них с Клэр обедали двое друзей, он придумал, как они потрясающе разыграют приятеля, с которым им предстояло встретиться после обеда. В чем заключался розыгрыш, Шелдон странным образом позабыл, он помнил только, что Себастьян хохотал и вертелся на каблуке, ударяя кулаком о кулак – жест, означающий, что он действительно развеселился. Все были страшно увлечены затеей, совсем было уже собрались ехать, Клэр вызвала такси

и с сумочкой наготове стояла в своих сверкающих серебряных туфельках – как вдруг оказалось, что Себастьяна все это несколько больше не интересует. Он поскучнел, стал зевать, почти не открывая рта, что пренеприятно, и наконец сказал, что выйдет погулять с собакой, а потом ляжет спать. У него тогда был маленький черный бультерьер – он потом заболел, и пришлось его усыпить.

Окончена была «Потешная гора», за нею – «Альбиносы в черном», наконец, третья и последняя его повесть – «Обратная сторона луны». Вы, конечно, помните прелестного героя этого рассказа – маленького смирного человечка, который, пока ждал поезда, тремя разными способами спас трех заблудившихся путешественников. Кстати, мистер Зиллер – самый, может быть, живой из всех героев Себастьяна, завершает «тему расследования», о которой я говорил в связи с «Граненой оправой» и «Успехом», – будто некая идея, постепенно прораставшая сквозь два романа, вдруг воплотилась в физическое бытие, и вот, мистер Зиллер склоняется перед нами в поклоне – каждая черточка его манер и внешности неповторима и осязаема: кустистые брови и умеренные усы, мягкий воротничок и кадык, который «ворочается, словно соглядатай за шпалерой{43}», карие глаза и винного цвета вены на большом крепком носу – «глядя на него, горбатый задумается, на месте ли его горб»; скромный черный галстук и старый зонт («утка в глубоком трауре»); густые заросли в ноздрях и – дивный сюрприз: само сияющее совершенство открывается нам, когда он снимает шляпу. Но чем лучше Себастьян писал, тем хуже себя чувствовал, особенно при перерывах в работе. Шелдон считает, что мир, созданный Себастьяном несколько лет спустя в последней книге («Сомнительный асфодель»), уже отбрасывал тени на все, что его окружало, и хитрые искусители, что скрывались за яркими масками его романов и повестей, завлекая все новыми авантюрами творчества, неуклонно вели его к роковой, единственной цели. Клэр он, казалось, любил не меньше, чем прежде, но, как следствие все более овладевавшего им острого ощущения смертности, их отношения выглядели более хрупкими, чем на самом деле. Сама же Клэр, добрая, невинная душа, безмятежно блаженствовавшая в уютненьком, но Себастьяном давным-давно покинутом уголке его жизни, теперь, безнадежно отстав, никак не могла решить, догонять ли его или пытаться позвать обратно. Вечно занятая то литературными делами Себастьяна, то присмотром за его обиходом, она, хоть и чувствовала, что завелась червоточина и что с жизнью его воображения связь терять опасно, тем не менее успокаивала себя, вероятно, мыслью, что шероховатости эти временные и «все как-нибудь образуются».

Их интимных отношений я, естественно, касаться не могу, во-первых, потому, что смешно обсуждать то, что доподлинно никому не известно, во-вторых, оттого, что само вульгарно присвистывающее слово «секс» (и это, конечно, «ксс, ксс, киска») кажется мне до того оглуляющим, что я начинаю сомневаться, имеет ли это слово вообще какой-нибудь смысл. Уверен, что отводить «сексу» почетное место, пытаюсь разобраться в душе человека, или, того хуже, раздувать «половой вопрос» (если таковой существует), через него объясняя «все прочее», – не что иное, как грубая логическая ошибка.

«Накатывающая на берег волна – это еще не все море под луной,

прячущее дракона в своей пучине, хотя вода — это и лужица в выемке скалы, и голубая дорога в Поднебесную, вся в алмазной ряби»

(«Обратная сторона луны»).

«Телесная любовь лишь способ иначе выразить то же самое, а не какая-то там особенная сексофонная нота, — стоит ее якобы услышать, и половина души отзовется эхом»

(«Стол находок», стр. 82).

«Все сущее образует единый строй, ибо таково единство человеческого восприятия, единство личности, единство материи — чем бы ни являлась эта последняя. Реально одно лишь число — единица, прочие — ее повторы»

(там же, стр. 83).

Если бы я даже узнал из какого-то надежного источника, что Клэр как любовница не совсем устраивала Себастьяна, мне все равно бы не пришло в голову этим объяснять его общее лихорадочно-нервное состояние. Не удовлетворенный всем на свете, он мог быть не удовлетворен и какими-то оттенками своей любви. Заметьте, что слово «неудовлетворенность» я употребляю в расширительном смысле — состояние духа Себастьяна той поры никак не сводилось к Weltschmerz[11] или к простой хандре. Понять это состояние можно только через его последнюю книгу «Сомнительный асфодель» — тогда она была еще дальней дымкой на горизонте, вот-вот она прорежется береговой линией. В 1929 году известный кардиолог, доктор Оутс, посоветовал Себастьяну месяц провести в эльзасском городке Блауберге, так как применявшееся там лечение не раз помогало в сходных случаях. Молчаливо было принято, что поедет он один. Перед его отъездом мисс Прэтт, Шелдон, Клэр и Себастьян сидели у него дома за чаем, он был разговорчив и весел и все поддразнивал Клэр, сунувшую в его вещи, которые она укладывала в его присутствии, вносившем только дополнительную суматоху, свой скомканный носовой платок. Потом он ухватил Шелдона за манжету (часов он не носил никогда), глянул на циферблат и вдруг заспешил, хотя до поезда оставалось еще около часа. Зная, что он этого не любит, Клэр и не заикнулась о том, чтобы проводить его на вокзал. Он поцеловал ее в висок. Шелдон помог ему вынести багаж (не помню, довелось ли мне упоминать, что прислуги, за вычетом изредка мелькавшей поденной уборщицы да официанта, носившего ему еду из соседнего ресторанчика, Себастьян не держал). Оставшись втроем, они несколько минут сидели молча.

Внезапно Клэр опустила чайник на стол со словами:

– Раз мой платок решил с ним ехать, надо мне, я думаю, этот намек принять на свой счет.

– Что за глупости, – сказал мистер Шелдон.

– Почему нет? – отозвалась она.

– Если речь о том, чтобы поспеть на этот поезд... – начала мисс Прэтт.

– Почему нет, – повторила Клэр. – У меня еще сорок минут. Забегу к себе, что-нибудь захвачу, и на такси...

Она так и сделала. Что произошло на вокзале Виктории, никому не известно, но примерно через час она позвонила Шелдону, который уже вернулся домой, и с довольно жалким смешком сказала, что Себастьян не позволил ей даже постоять на платформе до отхода поезда. Я так и вижу, как она подъезжает к вокзалу со своим чемоданчиком, губы готовы раздвинуться в юмористической улыбке, туманный взгляд скользит по окнам вагонов, ища его и вот обнаружив – а может, он первый ее увидел... «Привет, вот и я», – наверное, сказала она безмятежно, капельку чересчур безмятежно...

Через несколько дней он ей написал, что место ему нравится и чувствует он себя отлично. Потом наступило молчание, и лишь в ответ на обеспокоенную телеграмму Клэр пришла открытка с известием, что он решил сократить пребывание в Блауберге и на обратном пути задержится на неделю в Париже.

К концу упомянутой недели он мне позвонил, и мы ужинали в русском ресторане. Шел 1929 год, а в последний раз мы виделись в 1924-м. Выглядел он больным и измученным, и был так бледен, что казался небритым, хотя только что побывал у парикмахера. Понизе затылка у него был фурункул, заклеенный розовым пластырем.

Он порасспросил меня немного о моей жизни, и вскоре мы оба почувствовали, что разговора не получается. Я осведомился, что случилось со славной девушкой, с которой он был в прошлый раз. «Девушкой? – переспросил он. – А, Клэр. С ней все в порядке. Мы вроде как бы женаты».

– Выглядишь ты неважно, – сказал я.

– Неважно так неважно. Пельмени есть будешь?

– Ты еще помнишь, что это такое?

– А почему бы мне не помнить? – сухо отозвался он.

Несколько минут мы ели в молчании. Принесли кофе.

– Как, ты сказал, называется это место? Блауберг?

– Блауберг.

– Там неплохо?

– Смотря, что считать «неплохо», – ответил он, напряжением мышц подавляя зевоту. – Извини, – добавил он, – постараюсь отоспаться в поезде.

Он вдруг отогнул мою манжету, чтобы взглянуть на часы.

– Половина девятого, – сказал я.

– Мне надо телефонировать, – пробормотал он и с салфеткой в руке зашагал через зал. Когда он минут через пять вернулся, салфетка наполовину свисала у него из кармана пиджака. Я извлек ее.

– Послушай, – он сказал, – мне ужасно жаль, но я должен идти. Совсем забыл, что у меня встреча.

«Меня всегда огорчало, – пишет Себастьян Найт в «Столе находок», – что в ресторане люди не обращают внимания на живые мистерии, разыгрываемые теми, кто подает им еду, принимает у них пальто и распахивает перед ними двери. Как-то раз я напомнил одному коммерсанту, с которым мы завтракали несколькими неделями раньше, что у женщины, подавшей нам шляпы, была вата в ушах. Это его озадачило, он сказал, что никакой женщины он вообще не заметил... Человек, которому некогда заметить в спешке, что у шофера такси заячья губа, по мне, страдает мономанией. Мне начинает казаться, что я окружен безумцами и слепцами, когда до меня доходит, что изо всей толпы лишь я один вижу: девушка, разносящая шоколад, чуть-чуть, совсем чуть-чуть, прихрамывает».

Мы вышли из ресторана и направились к стоянке таксомоторов. Старик со слезящимися глазами, раздававший какие-то печатные объявления, лизнув палец, протянул один такой листок не то Себастьяну, не то мне, не то нам обоим. Ни он, ни я этому призыву не вняли – два угрюмых мечтателя прошли мимо, не повернув головы.

– Ну, до свидания, – сказал я Себастьяну, подзывавшему мотор.

– Приезжай ко мне в Лондон как-нибудь, – сказал он и обернулся. – Подожди-ка, – добавил он, – так не годится. Я убогого обидел. – Он вернулся, держа в руке афишку, которую внимательно проглядел, прежде чем выбросить.

– Тебя подвезти? – спросил он.

Мне показалось, что ему до смерти надо от меня избавиться. «Нет, спасибо», – ответил я. Адреса я не расслышал – помню только, что он приказал шоферу ехать быстрее.

Когда он вернулся в Лондон... Увы, нить повествования рвется – я вынужден просить других людей связать ее концы.

Сразу ли Клэр поняла, что случилось некое событие? Сразу ли она заподозрила, какое? Стоит ли гадать, что она сказала Себастьяну, и что сказал он, и что она ему на это ответила? Думаю, не стоит... Шелдону, когда он их видел вскоре после приезда Себастьяна, показалось, что держится он как-то странно. Но у него ведь такое бывало и раньше.

— В конце концов это стало меня тревожить, — рассказывал Шелдон. Однажды он спросил Клэр с глазу на глаз, все ли с Себастьяном благополучно.

— С Себастьяном? — переспросила Клэр с какой-то ужасной заторможенной улыбкой. — Себастьян спятил. Совсем спятил, — повторила она, расширив блеклые глаза, и добавила тихо: — Он перестал со мной разговаривать.

Тогда Шелдон повидал Себастьяна и спросил его, что случилось.

— А вас это касается? — осведомился тот с неприятной холодностью.

— Мне нравится Клэр, — сказал Шелдон, — и я хочу знать, почему она бродит как потерянная душа. (Она являлась к Себастьяну каждый день и усаживалась в каком-нибудь малоподходящем углу, где прежде никогда не сидела. Иногда она приносила ему сластей, иногда — галстук. Сласти оставались нетронутыми, галстук безжизненно повисал на спинке стула. Казалось, она проходит сквозь Себастьяна, как привидение. Потом она исчезала так же молча, как появлялась.)

— Так что же? — сказал Шелдон. — Покончим с этим, старина. Что вы с ней сделали?

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Шелдон так от него ничего и не узнал — то небольшое, что удалось выяснить, было добыто у самой Клэр. По возвращении в Лондон Себастьян стал получать от дамы, с которой познакомился в Блауберге, письма, написанные по-русски. Оба останавливались в той же самой гостинице. Ничего, кроме этого, не было известно.

Спустя полтора месяца, в сентябре 1929 года, Себастьян снова уехал из Англии и отсутствовал до января. Где он был — неведомо. Шелдон предположил, что скорее всего в Италии — «все любовники туда едут». Особенно он на этом настаивал.

Не ясно, было ли у Себастьяна с Клэр решающее объяснение, или просто он, уезжая, оставил ей письмо. Она удалилась столь же незаметно, как возникла. Она сменила квартиру: прежняя была слишком близко к дому Себастьяна. Как-то раз, сумрачным ноябрьским днем, мисс Прэтт

столкнулась с ней в тумане. Клэр шла домой из страховой конторы, где подыскивала себе работу. После этого девушки стали видаться довольно часто, но имя Себастьяна почти не произносилось. Спустя пять лет Клэр вышла замуж.

«Стол находок», начатый в то время Себастьяном, – это своего рода привал на пути его художественных изысканий: подведение итогов, подсчет потерь – материальных и людских, ориентировка на местности; звякают подковами, пощипывая траву во мраке, расседланные кони, неярко светит бивуачный костер, над головой звезды... Там есть короткая глава об авиационной катастрофе. Погиб пилот и все, кроме одного, пассажиры. Уцелел пожилой англичанин, обнаруженный крестьянином неподалеку от места крушения: весь съезжившись, он сидит на камне – само воплощение беды и боли.

– Сильно расшибились? – спрашивает крестьянин.

– Нет, – отвечает тот. – Зубы болят. Всю дорогу мучаюсь.

По полю разметано с полдюжины писем – остатки авиапочты, из них два деловых, необыкновенной важности, третье адресовано женщине, но начинается: «Уважаемый господин Мортимер, в ответ на Ваше письмо от 6-го незамедли...», и речь в нем идет о размещении заказа; четвертое – поздравление с днем рождения, пятое – шпионское, с иголкой тайны в стоге пустой болтовни, и, наконец, последнее – любовное, по ошибке вложенное в конверт с адресом торговой фирмы:

«Бедная любовь моя. Это будет больно. Пикник наш окончен, дорога темна и вся в ухабах, малютку в машине вот-вот вырвет. Что надо мужаться – тебе скажет любой дурак, но и все, что я могу сказать в поддержку и утешение, будет розовой водичкой... ты меня понимаешь, ты всегда меня понимала. Жизнь с тобой была волшебством, а для меня «волшебство» – это волхвы, шербет и шелест, и твое мягко-розовое «в», и то, как твои губы подавались вперед на этом детском «ш». Наша с тобой жизнь была аллитерацией, и, когда я думаю обо всех этих маленьких радостях, обреченных на смерть, потому что для жизни их нужны мы двое, мне кажется, что мы умерли тоже. А может, так оно и есть. Знаешь, чем огромней было наше счастье, тем туманнее делались его очертания, размывались края, и вот оно истаяло вовсе. Я не разлюбил тебя, но что-то во мне умерло, и мне уже не разглядеть тебя в тумане... Все это, впрочем, литература. Трусливая ложь. Никто так не малодушен, как поэт, ходящий вокруг да около. Ты, я думаю, догадалась, в чем дело: в роковом словосочетании «другая женщина». Я страшно с ней несчастлив – уж это чистая правда, и об этой стороне дела, думаю, хватит.

Не могу избавиться от чувства, что есть изначальная неправильность в самой природе любви. Друзья могут ссориться и расходиться, могут и близкие, но нет этой муки, этой боли и безысходности. Разве дружба бывает отмечена такой печатью обреченности? Отчего, в чем дело? Я не разлюбил тебя, но если я больше не могу целовать твое с трудом различимое родное лицо, то мы должны, должны расстаться. Почему это так? Что за загадочная особенность? Можно иметь тысячу друзей и только одну возлюбленную. Гаремы – вздор, я же говорю о балетных

турах и па-де-де, а не о гимнастических жимах и махах. Можно ли вообразить исполинского перса, который любит каждую из четырехсот своих жен так, как я – тебя? С двух уже начинается счет, которому не будет конца. Единственное реальное число – единица, и любовь – лучший тому пример.

Прощай, бедная моя любовь. Ты незабываема и незаменима. Глупо было бы уверять, что любовь к тебе была чиста, а новая страсть – только фарс плоти. Все – плоть, и все – чистота. Знаю одно: с тобой я был счастлив, а теперь несчастен с другой. Жизнь будет продолжаться. На службе я буду перешучиваться с приятелями, с аппетитом ужинать (пока не заработаю несварение желудка), читать романы и писать стихи да поглядывать на курс акций – в общем, вести себя как раньше. Но это не значит, что без тебя я буду счастлив. Каждая малость будет напоминать о тебе – укоризненный вид мебели в комнате, где ты ласкала подушки и беседовала с каминной кочергой, каждая малость, которую вместе разглядывали, будет всегда казаться одной только створкой раковины, половинкой монеты, а другая осталась у тебя. Прощай. Уходи, уходи. Не пиши. Стань женой Чарли или другого хорошего человека с трубкой в зубах. Сейчас меня забудь, – вспомни потом, когда горечь пройдет. Эта клякса – не от слез. У меня сломалось самопишущее перо – пишу скверным пером в скверном гостиничном номере. Тут невыносимо жарко, и я не справился с делом, которое должен был довести «до удовлетворительного завершения», как выражается этот осел Мортимер. Кажется, у тебя остались две-три моих книги – неважно. Пожалуйста, не пиши.

Л.»

Если отвлечься от всего того, что относится к личным обстоятельствам вымышленного автора, многое в этом письме, уверен, выдает чувства самого Себастьяна, – а может, и написано оно для Клэр? У него была странная привычка: даже самых гротескных своих персонажей он одаривал мыслями, желаниями и впечатлениями, с которыми носился сам. Не зашифрована ли в письме героя правда о его отношениях с Клэр? Не берусь назвать другого писателя, который так бы умел сбивать с толку своим мастерством – по крайней мере меня, желавшего за автором увидеть человека. Но проблески его признаний о себе едва отличимы от мерцающих огоньков вымысла. А что еще более удивительно и непонятно: откуда у человека, пишущего о своих истинных чувствах, хватает сил одновременно лепить – из самого предмета своей печали – измышленный, слегка, может быть, даже комический образ?

В начале 1930 года Себастьян вернулся в Лондон, где слег с тяжелейшим сердечным приступом. При всем том он умудрялся продолжать «Стол находок» – книгу, давшуюся ему, я думаю, легче других. Чтобы понятно было дальнейшее, заметим, что его литературными делами ведала до этого исключительно Клэр, и стоило ей сойти со сцены, они сразу оказались в страшном беспорядке. Часто Себастьян понятия не имел, как они обстоят и каковы в точности его отношения с тем или иным издателем. Рассеянный, предельно беспомощный, он настолько был не способен запомнить имя или адрес, запомнить, куда он положил что–

то нужное, что стал попадать в самые нелепые положения. Клэр, по-девичьи забывчивая, в делах Себастьяна соблюдала, как ни странно, полный порядок и последовательность – но теперь воцарилось безумие. Себастьян не умел печатать на машинке, и нервы его были не в том состоянии, чтобы начинать учиться. «Потешная гора» стала печататься сразу в двух американских журналах, и Себастьян решительно не мог припомнить, как он умудрился продать ее одновременно в два места. Была еще запутанная история с человеком, который хотел сделать фильм по «Успеху» и выплатил Себастьяну аванс (а тот слишком невнимательно читал письма, чтобы это заметить) за сокращенный и «усиленный» вариант, который Себастьяну не привиделся бы и в страшном сне. Вряд ли он даже заметил переиздание «Граненой оправы». Приглашения оставлялись им без ответа. Телефонные номера вечно оказывались не теми – ему легче было написать целую главу, чем пускаться в лихорадочные поиски конверта с нацарапанным на нем номером. А мысли его уже в другом месте – летят по следу ускользающей дамы сердца, пока он ждет у телефона, который звонит наконец, а то, не дождавшись, срывается на вокзал – и вот он перед нами, как его однажды увидел Рой Карсуэлл: изможденный мужчина в длинном пальто и шлепанцах садится в пультмановский вагон.

В эту пору и объявился г-н Гудмэн. Мало-помалу Себастьян передал ему все литературные дела и испытал огромное облегчение, обретя столь расторопного секретаря. «Обычно, – пишет г-н Гудмэн, – я заставлял его в постели. Он лежал в ней, как мрачный леопард» (чем не волк в бабушкином чепце из «Красной шапочки?»).

«Никогда в жизни, – читаем в другом месте, – я не видел человека, настолько всегда подавленного. Говорят, что французский литератор М. Пруст, с которого Найт сознательно или бессознательно брал пример, тоже обожал принимать эдакую скупающую «интересную» позу...»

И далее:

«Найт был очень худ и бледен; у него были изнеженные руки, к которым он с чисто женским кокетством любил привлекать внимание. Как-то раз он признался, что добавляет в утреннюю ванну полфлакона французских духов, но вид у него при всем том был на редкость неухоженный. Как и прочие писатели-модернисты, Найт был непомерно тщеславен. Раз два я заставлял его заклеиванием вырезок – наверняка это были рецензии на его книги – в роскошный дорогой альбом, который он держал в столе под замком, стыдясь, вероятно, явить сей плод человеческой тщеты моему критическому оку... Он часто ездил за границу, дважды, пожалуй, в год, и не в Развеселый ли Париж... Поездки эти он окружал, однако, сугубой таинственностью, напуская на себя эдакую байроническую томность. Почти уверен, что выезды на континент были частью его художественной программы... он был законченный «roseur»[12]».

Красноречие г-на Гудмэна достигает особой силы, когда он углубляется в более глубокие материи. Его задача – показать «роковой раскол

между Найтом как художником и огромным грохочущим вокруг него миром» (в виде, надо полагать, круговой трещины).

«Найта погубила его позиция чужака!» – восклицает г-н Гудмэн и выцелкивает троеточие. – Отстраненность – воистину смертный грех в наш век, когда зашедшее в тупик человечество обращается к своим писателям и мыслителям, ожидая от них если не исцеления, то хотя бы сострадания к своим бедам и ранам. Башня из слоновой кости получает оправдание, только становясь радиостанцией или маяком... В такую эпоху... изнывающую под бременем неразрешимых проблем, когда... экономический кризис, демпинг... одураченный простой человек... рост тоталитаризма... безработица... следующая мировая война... новые стороны семейной жизни... секс... устройство вселенной...»

Интересы г-на Гудмэна, как мы видим, широки.

«Итак, – продолжает он, – Найт решительно отказывался проявлять хоть какое-то любопытство к вопросам современности... Когда его просили присоединиться к тому или иному движению, принять участие в каком-нибудь серьезном митинге или только присоединить свою подпись к более знаменитым именам под воззванием, утверждающим вечные истины или обличающим силы зла... он отказывался наотрез, несмотря на все мои увещевания и даже мольбы... Правда, в своей последней (и на редкость невразумительной) книге он возвращается на землю... но избранный им угол зрения и те стороны жизни, на которые он обращает внимание, – это совсем не то, чего серьезный читатель вправе ждать от серьезного писателя... Это то же, как если бы пытливому исследователю, взявшемуся изучать устройство и деятельность крупного предприятия, с замысловатыми околичностями продемонстрировалидохлую пчелу на подоконнике... Когда я обращал его внимание на какую-нибудь новую книгу, привлекающую меня жизненностью поставленных проблем, он ребячливо отвечал, что все это ахинея, или отделялся другим каким-нибудь не идущим к делу замечанием... Он не понимал, что его «соло» – это еще не соль земли, и оно не сродни солнцу, как ошибочно полагал сей любитель латыни. Он не видел, что это – темный тупик... Впрочем, со своей повышенной впечатлительностью (помню, как он кривился, когда я, потягивая пальцы, щелкал суставами – дурная привычка, присущая мне в часы раздумий) он не мог не чувствовать, что что-то не в порядке... что он продолжает отсекал себя от Древа Жизни... что солярий не оснастить рубильником... Его боль, поначалу – искренняя реакция темпераментного юнца на жестокость мира, в который он был ввергнут, потом, в годы писательского успеха, – модная маска, теперь обернулась новой и страшной реальностью: невидимая рука переписала надпись у него на груди, гласящую уже не «Одинокый художник», но – «Слепой».

Высказываться по поводу пустословия г-на Гудмэна значило бы оскорблять проницательность читателя. Если Себастьян слеп, секретарь его, уж во всяком случае, с восторгом ухватился за роль лающего и рвущегося вперед поводыря. Рой Карсуэлл, писавший в 1933 году

портрет Себастьяна, говорил мне, что умирал от смеха, слушая Себастьяновы рассказы о г-не Гудмэне. Он так бы и не собрался отделаться от этой велеречивой личности, если бы эта последняя не стала слишком много на себя брать. В 1934 году Себастьян писал из Канн тому же Рою Карсуэллу, как он ненароком обнаружил (ибо редко перечитывал свои книги), что г-н Гудмэн заменил один эпитет в свановском издании «Потешной горы». «Я его вышиб», – добавил он. От упоминания этой маленькой подробности г-н Гудмэн скромно воздерживается. Истощив свой запас впечатлений и придя к выводу, что подлинной причиной смерти Себастьяна явилось осознание им своей «человеческой, а стало быть, и художественной несостоятельности», он бодренько замечает, что от своих секретарских обязанностей отказался, перейдя в новую сферу деятельности. Больше я книгу г-на Гудмэна упоминать не стану. Я ее упразднил.

Но чем больше я смотрю на портрет работы Карсуэлла, тем явственней в глазах Себастьяна, хоть и печальных, мне видится некая искорка. Художник восхитительно передал темную влажность зеленовато-серого райка с еще более темным ободком и намеком на созвездия золотой пыли вокруг зрачка. Веки тяжелые, может быть, слегка воспаленные, на отблескивающем белке лопнула, похоже, веточка сосуда. Это лицо, эти глаза смотрятся, подобно Нарциссу, в прозрачную воду: впалая щека подернута рябью – трудами водяного паучка, который замер на миг, а вода несет его обратно. Увядающий лист пристроился на отражении чела, прорезанного складками напряженного внимания. Темные волосы свалились на лоб и чуть-чуть смяты другой набежавшей полоской ряби, а прядь на виске поймала влажный солнечный луч. Меж прямых бровей залегла борозда, другая тянется от носа к плотно сжатому сумрачному рту. Кроме лица, почти ничего нет на портрете. Шея скрывается в переливчатой тени, а торс словно бы сходит на нет. Фон – таинственная синева с нежной вязью веточек в одном из углов. Это – Себастьян, он глядит на собственное отражение в пруду.

– Я хотел дать намек на присутствие женщины – позади него или где-то над ним... скажем, тень руки... что-то такое... Но побоялся впасть в повествовательность вместо живописи.

– Да, только, кажется, никто ничего о ней не знает. Даже Шелдон.

– Попросту говоря, она взяла и разбила его жизнь.

– Верно, только мне надо знать еще кое-что. Я все хочу знать. Иначе образ останется незавершенным, как ваша картина. Да нет, портрет прекрасный, и сходство безукоризненно, и этот плывущий паучок мне страшно нравится, особенно тени его ножек, они как крошечные хоккейные клюшки. Но ведь тут как бы мимолетное отражение лица. Посмотреться в воду может каждый.

– А вы не думаете, что ему это особенно удавалось?

– Понимаю вас. Но эту женщину я все равно должен отыскать. Она недостающее звено в его эволюции, и это звено я должен заполучить. Это научная необходимость.

– Держу пари на эту картину, что вы ее не найдете, – сказал Рой Карсуэлл.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Первым делом надлежало установить ее личность. С чего начать поиски? Какими данными я располагаю? В июне 1929 года Себастьян жил в отеле «Бомон» в Блауберге и там с нею познакомился. Она русская. Никакими другими нитями я не располагал.

Я разделяю отвращение Себастьяна к почте во всех ее видах. Мне проще проехать тысячу миль, чем написать самое короткое письмо, потом искать конверт, искать нужный адрес, покупать нужную марку, отправлять письмо и потом ломать голову, вспоминая, подписал я его или нет. Кроме того, дело было деликатное, и о переписке не могло быть речи. После месячного пребывания в Англии я навел справки в туристском бюро и в марте 1936 года выехал в Блауберг.

Ему тут больше не бывать, размышлял я, глядя на сырые пашни, где в длинных космах белого тумана смутно плыли прямые тополя. Городок под красной черепицей притулился у подножья покато́й серой горы. Я оставил чемодан в камере хранения Богом забытой станции, где из стоящего на запасном пути телячьего вагона доносилось грустное мычанье невидимых коров, и стал подниматься по пологому склону – туда, где за влагою пахнущим парком маячила целая гроздь гостиниц и санаториев. Люди почти не попадались, был «несезон», и я вдруг с тревогой подумал, что гостиница, чего доброго, окажется закрытой.

Этого не случилось – удача еще не настолько меня покинула. Дом с ухоженным садом, окруженный готовыми зацвести каштанами, выглядел довольно славно. Вмещал он на вид не более пятидесяти человек – это меня взбодрило: сужался круг поиска. Управляющий оказался седовласым господином с подстриженной бородкой и черными бархатными глазами. Я начал издалека.

Сперва я сказал, что моему покойному брату, знаменитому английскому писателю Себастьяну Найту, очень здесь понравилось, да и сам я подумываю на лето приехать в эту гостиницу. Вероятно, мне следовало снять номер, обосноваться, втереться, так сказать, в доверие, а особые расспросы отложить до более благоприятного момента, но почему-то мне показалось, что все можно уладить немедленно. Он сказал – да, он помнит, был англичанин, жил тут в 1929 году, каждое утро требовал ванну.

– Он ведь нелегко сходилcя с людьми, не так ли? – спросил я как бы между прочим. – Всегда, поди, гулял в одиночестве?

– Да, по-моему, он был с отцом, – ответил управляющий неуверенно.

Мы некоторое время бились, распутывая трех или четырех англичан, случившихся за последние десять лет в отеле «Бомон». Я понял, что он не очень-то помнит Себастьяна.

— Буду с вами откровенен, — заговорил я без дальнейших околичностей.
— Мне нужен адрес дамы, приятельницы моего брата, которая одновременно с ним здесь находилась.

Управляющий слегка приподнял брови, и у меня возникло неприятное чувство, что я дал маху.

— Зачем? — спросил он.

(Может, дать ему взятку? — пронеслось у меня в голове.)

— Знаете, — я сказал, — я готов оплатить ваши хлопоты, если вы подберете нужные мне сведения.

— Какие сведения? — спросил он. (Глупый был старикан и подозрительный, — да не прочтет он этих строк.)

— Я надеюсь, — продолжал я терпеливо, — что вы будете настолько добры, что поможете мне найти адрес дамы, которая останавливалась тут в июне двадцать девятого, тогда же, когда и господин Найт.

— Какой дамы? — спросил он казуистическим тоном гусеницы из «Алисы в стране чудес»{44}.

— Я точно не знаю ее имени, — сказал я нервно.

— Как же тогда я, по-вашему, ее найду? — спросил он, пожимая плечами.

— Она русская, — сказал я. — Может, вы помните русскую даму, молодую. Ну, понимаете... красивую...

— Nous avons eu beaucoup de jolies dames, [13] — сказал он, все более уходя в свой кокон. — Как можно упомнить?

— Знаете, — сказал я, — проще всего было бы проглядеть ваши книги за июнь двадцать девятого и отобрать русские имена.

— Их наверняка окажется несколько, — возразил он, — как же вы сможете из них выбрать?

— Дайте мне имена с адресами, — сказал я, теряя надежду, — а там уж я разберусь.

Он глубоко вздохнул и покачал головой.

— Нет, — сказал он.

— Вы хотите сказать, что не держите книг? — спросил я, стараясь

говорить спокойно.

— Держу, как не держать. В моем деле без порядка в таких вещах нельзя. Нет, все имена у меня налицо...

Он отошел в глубь комнаты и извлек откуда-то большой черный фолиант.

— Вот, — сказал он, — вот первая неделя июля тридцать пятого. Профессор Отт с супругой; полковник Самаин...

— Но позвольте, — сказал я, — мне не нужен июль тридцать пятого. Что мне нужно...

Он захлопнул книгу и понес ее обратно.

— Я только хотел вам показать... — сказал он, не оборачиваясь, — хотел показать... (щелкнул замок) что книги у меня в полном порядке.

Он вернулся к своей конторке и стал складывать лежащее на бюваре письмо.

— Лето двадцать девятого, — взмолился я. — Почему вы не хотите показать мне эти страницы?

— Потому что так не принято, — отвечал он. — Во-первых, я не хочу, чтобы совершенно посторонний человек беспокоил людей, которые были и будут моими постояльцами. Во-вторых, я не понимаю, почему вы так стремитесь разыскать даму, которую не хотите назвать. И в-третьих, я не хочу неприятностей. Мне и так хватает неприятностей. Тут в соседней гостинице в двадцать девятом году одна швейцарская парочка с собой покончила, — заключил он ни к селу ни к городу.

— Это ваше последнее слово? — спросил я. Он кивнул и поглядел на часы. Я повернулся и вышел, хлопнув дверью — насколько это возможно с этими чертовыми пневматическими устройствами.

Я медленно побрел к станции. Парк. Может, эту каменную скамейку под кедром Себастьян вспоминал перед смертью. А очертания вон того кряжа были, может быть, росчерком пера над каким-нибудь незабываемым вечером. Вся эта местность стала мне казаться громадным отвалом пустой породы с погребенным в ней черным алмазом. Какая ужасающая, нелепая, мучительная неудача! Свинцовая тяжесть совершаемого во сне усилия. Бездна надежные попытки уцепиться за тающие предметы. Почему прошлое так непокорно?

Что же теперь делать? Реку жизни, в плавание по которой я так жаждал пуститься, на одном из последних извивов затянул белый туман — совсем как дол, на который я сейчас глядел. Можно ли, несмотря на это, браться за книгу? Книгу с белым пятном. Мне представилась незавершенная картина — руки и ноги мученика даны контуром, в боку торчат стрелы...{45}

У меня было чувство, что я заблудился, что мне некуда идти. Я достаточно долго ломал голову, как отыскать последнюю любовь

Себастьяна, чтобы видеть: другого способа установить ее имя нет. Ее имя! Заполучи я эти засаленные черные тома, я его опознал бы сразу. Не махнуть ли рукой и заняться сбором кое-каких мелких деталей – тоже нужных, причем тут я хоть знал, куда обращаться.

В таком-то смятении ума сел я в неторопливый поезд, чтобы вернуться в Страсбург. Оттуда я, может быть, проследую дальше в Швейцарию... Но нет, я не мог осилить колющую боль провала, хотя усердно пытался погрузиться в прихваченную с собой английскую газету: помня о предстоящей мне работе, я, упражнения ради, старался читать только по-английски. А можно ли приступить к тому, замысел чего столь вопиюще неполон?

Я был один в купе (вещь обычная для второго класса на таких поездах), но недолго – на первой же станции вошел невысокий человек с кустистыми бровями и, поприветствовав меня на континентальный манер на густом горловом французском, уселся напротив. Поезд мчался прямо на закат. Внезапно я заметил, что мой визави глядит на меня с сияющей улыбкой. «Прекрасный погода», – сказал он, снимая котелок и являя розовую макушку. – Ви англичанин? – спросил он, утвердительно кивая и улыбаясь.

– Сейчас, пожалуй, да, – отвечал я.

– Вижу, то есть я увидель, ви читаль английский газет, – сказал он, ткнув в газету перстом, потом сдернул желтую перчатку и ткнул снова (его, наверное, учили, что неприлично показывать пальцем в перчатке).

Я что-то пробормотал и отвел взгляд; не люблю дорожной болтовни, а сейчас был к ней особенно не расположен. Он проследил за моим взглядом. Садящееся солнце воспламенило многочисленные окна большого здания, которое медленно поворачивалось, демонстрируя постукивающему мимо поезду одну дымовую трубу, потом другую.

– Это есть Фламбаум и Рот. Большой фабрика, завод. Бумага.

Возникла небольшая пауза. Он почесал свой большой блестящий нос и подался ко мне.

– Я был в Лондон, Манчестер, Шеффилд, Ньюкасл, – он поглядел на большой палец, который не принял участия в счете.

– Да, – сказал он, – имел производство игрушек. До войны. И играл в немножко футбол, – добавил он, должно быть, заметив, что я гляжу на неровное поле с двумя удрученными воротами по краям – на одних не хватало перекладины.

Он заморгал; его усы ошетинились.

– Один раз, ви понималь, – сказал он и затрясся в беззвучном смехе, – один раз, ви понималь, я мяч прямо из аута бью... забивать... биль в ворота.

– Вот как, – вяло сказал я, – и попали?

– Ветер попалъ. Это была робинзонада.

– Что было?

– Робинзонада. Отличная проделка. Да... Ви далеко ехаль? – осведомился он вкрадчивым сверхучтивым тоном.

– Собственно... – сказал я, – этот поезд дальше Страсбурга не идет.

– Нет, я вообще имею... имелъ в виду – ви путешественник?

Я ответил утвердительно.

– В куда? – спросил он, мотнув головой.

– Я думаю, что в прошлое, – ответил я.

Он кивнул, словно понял. Потом, снова наклонившись ко мне, коснулся моего колена и сказал: «Теперь я продаю кожа, кожаные, ви знаете, мячи – другие пускай играют! Старый! Силы нету! Еще собачий намордники... и все такой...»

Он опять легонько ударил меня по колену: «А раньше, прошлый год, четыре прошлый лет, я работаль в полиция. Нет–нет, не ать–два, не совсем... Ну, в штатском. Ви меня поняль?

Я взглянул на него с внезапным интересом.

– Знаете что, – сказал я, – вы навели меня на мысль...

– Да, – сказал он, – если нужно добрый кожа, помощь, портсигары, подтяжки, консультация, боксерские перчатки...

– Пятое и, может быть, второе, – сказал я.

Он взял котелок, лежавший подле него, старательно его надел (кадык его при этом заходил вверх–вниз), потом, воссияв улыбкой, сдернул его с поклоном.

– Меня зовут Зильберман, – сказал он, протягивая руку. Я ее пожал и тоже назвался.

– Имя не английский, нет! – вскричал он, ударяя себя по колену. – Русский! Гаврит парусски! Я еще слова знаю... стойте! Да... Ку–кол–ка! – это маленький кукла.

Он помолчал. Я так и этак вертел в голове мысль, которую он мне подал. Не обратиться ли в агентство частного сыска? А не мог бы сам этот человек мне помочь?

– Рыба! – вскричал он. – Тоже знаем. Рыба, так? и... Да. Брат, мили брат.

– Я подумал, – сказал я, – что, быть может, если я вам расскажу о своем трудном положении...

– Вот и все, – сказал он, вздыхая. – Я говорю (снова пошли в ход пальцы) литовский, немецкий, английский, французский (опять большой палец остался не у дел). Русский забыл! Ать-два! Совсем!

– Вы, может быть, смогли бы... – начал я.

– Все что хотите, – сказал он, – ремни, кошельки, записные книжки, идеи...

– Идеи, – подхватил я. – Понимаете, я пытаюсь кое-кого разыскать... одну русскую даму, я ее никогда не видел и даже имени ее не знаю. Все, что я знаю – что она некоторое время жила в одном отеле в Блауберге.

– О, хороший место, отличный, – сказал господин Зильберман, вытягивая губы гузкой в знак нешуточного одобрения. – Вода хороший, прогулки, казино. Хотель, чтоб я что сделал?

– Я бы прежде хотел узнать, что делают в таких случаях.

– Лучше оставлять ее в покое, – сказал, не задумываясь, господин Зильберман. Он вытянул шею, и его кустистые брови зашевелились. – Забыть ее, бросить из головы. Опасно есть, польза нет. – Он стряхнул что-то с моего колена, кивнул и откинулся на диванчике.

– Речь не о том, – сказал я. – Вопрос не «зачем», а «как».

– На всякий «как» свой «зачем», – сказал господин Зильберман. – Вы видите... видель ее бильд, то есть фото, а теперь сами хотеть найти ее саму. Это не любовь. Да! Пустой дело!

– Да нет же, – вскричал я, – все совсем не так. Я понятия не имею, какая она собой. Видите ли, ее любил мой покойный брат, и я хочу, чтобы она мне о нем рассказала. Все очень просто.

– Печально, – сказал господин Зильберман и покачал головой.

– Я хочу написать о нем книгу, – продолжал я, – меня интересует каждая черточка его жизни.

– Какой болезнь? – резким голосом спросил господин Зильберман.

– Сердце, – отвечал я.

– Сердце – скверно. Много-много предупреждений, потом несколько генеральный... генеральных...

– Генеральных репетиций смерти. Это точно.

– Да. А лет сколько?

— Тридцать шесть. Он писал книги, печатался под фамилией матери. Найт. Себастьян Найт.

— Вот сюда запишите, — сказал господин Зильберман, протягивая мне новенькую, необыкновенно славную записную книжку с прелестным серебряным карандашиком внутри. Раздалась маленькая пулеметная очередь, он аккуратно вырвал страничку, положил ее в карман и снова протянул книжечку мне.

— Нравится, нет? — спросил он с озабоченной улыбкой. — Позволить маленький подарок.

— Право же, — начал я, — это так с вашей стороны...

— Пустяк, пустяк, — сказал он, помахивая рукой. — Ну, так что вы хотите?

— Мне нужен, — отвечал я, — полный список гостей отеля «Бомон» за июнь двадцать девятого. И кое-какие о них сведения, по крайней мере о дамах. Нужны адреса. Я хочу быть уверен, что какая-нибудь русская дама не укрылась за европейской фамилией. Потом я выберу самую вероятную или вероятных, и...

— И пробовал до них добраться, — сказал, кивая, господин Зильберман. — Хорошо! Отлично! Все гости у меня тут (он показал на свою ладонь), очень просто. Прошу ваш адрес.

Он вытащил другую записную книжку, на этот раз весьма потрепанную, с исчерканными страницами, которые вываливались из нее, словно осенние листья. Я добавил, что не тронусь из Страсбурга, пока мы с ним не встретимся.

— В пятницу, — сказал он, — в пятницу, строго в шесть.

И этот удивительный человечек, вновь откинувшись назад, сложил ручки и смежил глаза, как будто сделанное дело поставило каким-то образом точку в нашей беседе. Его лысое чело стала исследовать муха, но он даже не шелохнулся. Продремал он до самого Страсбурга. Там мы расстались.

— Постойте, — сказал я, пожимая ему руку, — вы должны назвать ваш гонорар... Я хочу сказать: я готов заплатить, сколько вы сочтете нужным... Может, вы бы хотели получить аванс...

— Вы мне прислать ваша книга, — сказал он, подняв толстый указательный палец. — И оплатить возможных трат, — добавил он, понизив голос, — р-разумеется!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Так у меня в руках оказался список сорока трех особ, и имя Себастьяна (С. Найт, 36 Оук Парк Гарденз, Лондон, Ю3) вдруг приобрело, затерявшись в нем, некое странное очарование. Приятным сюрпризом оказалось и то, что против каждой фамилии был проставлен адрес: Зильберман пояснил поспешно, что приезжающие в Блауберг частенько умирают. Из сорока двух незнакомцев и незнакомок тридцать восемь были, как он выразился, «никакой вопрос». Правда, среди последних три дамы, все незамужние, носили русские фамилии, но две были немки, третья – из Эльзаса, и все они часто приезжали в гостиницу. Была еще загадочная девушка Вера Разин, однако Зильберман не только точно знал, что она французенка, но также что она танцовщица и любовница страсбургского банкира. Еще была пожилая чета из Польши, которую мы без колебаний отставили. В числе остальных тридцати двух, не подлежащих обсуждению, было двадцать мужчин; из них только восемь были женаты или, по крайней мере, привезли жен (Эмму, Хильдегарду, Паулину и т. д.), как на подбор солидных, клялся Зильберман, пожилых и донельзя нерусских.

Итак, оставалось четыре фамилии.

Мадемуазель Лидия Богемская, живущая в Париже. Она провела в отеле девять дней в начале пребывания там Себастьяна, и управляющий ничего о ней не помнил.

Мадам де Речной уехала в Париж накануне отъезда Себастьяна туда же. Управляющему запомнилась как шикарная молодая дама, щедро раздававшая чаевые. Французская частица указывала на ее принадлежность к особому типу моих соотечественников, любящих подчеркивать свое дворянство, хотя ставить «de» перед русской фамилией не только глупо, но и незаконно. Может быть, это авантюристка, а может, жена сноба.

Хелене Гринштейн. Фамилия еврейская, но не немецко-еврейская, несмотря на германообразность: «и» в «грин», заменившее природное «ю», выдавало русскую почву. Она приехала всего за неделю до Себастьяна и еще три дня оставалась после его отъезда. По словам управляющего, это была красавица. Приезжала она однажды и до этого, а жила в Берлине.

Элен фон Граун{46}. Чисто немецкое имя. Между тем управляющий совершенно уверен, что она несколько раз пела по-русски. Он добавил, что она чрезвычайно собой хороша и у нее превосходное контральто. Она пробыла месяц и уехала в Париж пятью днями раньше Себастьяна.

Вместе с четырьмя адресами я дотошно записал и все эти подробности. Искомой могла оказаться любая из четверки. Я сердечно поблагодарил господина Зильбермана, сидевшего передо мной со шляпой на сведенных коленях. Он вздохнул и поглядел на носки своих черных сапожек под старыми мышастыми гетрами.

– Я сделалъ это, – сказал он, – потому что вы мне симпатичный. Но... –

он устремил на меня взгляд своих светло-карих глаз, лучившихся приязнью, — но думаю, без польза. Нельзя видеть обратна сторона луны. Пожалуйста, не ищите эта женщина. Что прошло, то ушло. Она не помнил ваш брат.

— Ничего, я ей напомним, — мрачно сказал я.

— Как ви желаль, — сказал он, расправляя плечи и застегивая сюртук. Он поднялся. — Удачная путешествия, — сказал он без привычной улыбки.

— Постойте, мистер Зильберман. Мы должны кое-что уладить. Сколько я вам должен?

— Это есть правильно, — сказал он, усаживаясь обратно. — Момент. — Он развинтил вечное перо, набросал несколько цифр, потом стал их разглядывать, постукивая по зубам колпачком. — Да, шестьдесят восемь франков.

— Почему так мало, — начал я. — Вы, может быть...

— Стойте, — вскричал он, — ошибка! Вы охраняет записной книжка, который я даль?

— Ну да, — сказал я. — Вообще-то я уже начал в ней писать. Я думал...

— Тогда не шестьдесят восемь! — сказал он, поспешно исправляя подсчеты. — Тогда... тогда только восемнадцать, потому что книжка цена пятьдесят. Итого восемнадцать франков: путевой расход...

— Но позвольте, — начал я, слегка изумленный его арифметикой.

— Да, вот теперь коррект, — сказал господин Зильберман.

Я нашел двадцатифранковую монету, хотя, если бы он только позволил, с радостью дал бы ему в сто раз больше.

— Ага, теперь я вам должник... Да, точно. Восемнадцать и два будет двадцать. — Он наморщил брови. — Значит, двадцать. Это ваш. — Он положил сдачу на стол и удалился.

Интересно, как я пошлю ему свой труд, когда его закончу: адреса этот забавный человек не оставил. Голова моя слишком была переполнена, чтобы об этом вспомнить. Но если он наткнется когда-нибудь на «Истинную жизнь Себастьяна Найта», мне хотелось бы, чтобы он знал, как я благодарен ему за помощь. И за книжечку тоже. В ней уже и сейчас много записей, а когда она совсем заполнится, я заменю страницы.

После ухода господина Зильбермана я не торопясь изучил все четыре адреса, добытые им как по волшебству, и решил начать с берлинского. Если там меня постигнет разочарование, у меня останется возможность заняться парижской троицей, не предпринимая еще одной долгой поездки, невыносимой от сознания, что это — последняя ставка.

Напротив, если удача придет с первой попытки, тогда... Впрочем, неважно... Судьба щедро вознаградила мое решение.

Снег крупными мокрыми хлопьями косо летел вдоль Пассауэр-штрассе в западной части Берлина, на которой я разыскал некрасивый старый дом, чья физиономия наполовину пряталась под маской лесов. Как только я постучал в окошко привратничкой, кисейная занавеска отдернулась, створка распахнулась и растрепанная старуха угрюмо мне сообщила, что фрау Хелене Гринштейн действительно здесь живет. Я направился вверх по лестнице, испытывая холодящую дрожь душевного подъема. «Гринштейн» – гласила медная табличка на двери.

Безмолвный подросток в черном галстуке с опухшим бледным лицом открыл мне дверь и, даже не спросив, кто я, повернулся и куда-то пошел по коридору. Вешалка в маленькой прихожей ломилась от одежды. На столике между двумя цилиндрами лежал букет мокрых от снега хризантем. Так как никто не появлялся, я постучал в одну из дверей, потом распахнул ее и прикрыл снова. Я успел разглядеть темноволосую девочку, крепко спавшую на диване под кротовой шубкой. Еще с минуту я постоял в прихожей. Вытер лицо, все еще мокрое от снега. Высморкался. И наконец рискнул двинуться по коридору. Из распахнутой двери доносилась русская, вполголоса, речь. В двух больших комнатах, соединенных подобием арки, былолюдно. Мое появление не вызвало ни малейшего интереса – всего два или три лица повернулись без внимания в мою сторону. На столе стояли стаканы недопитого чая и блюдо, полное крошек. В углу кто-то читал газету. Дама в серой шали сидела за столом, подперев щеку рукой – на ее запястье скатилась слеза. Еще два-три человека неподвижно сидели на диване. Девочка, похожая на ту, что спала на диване, гладила пожилую собаку, свернувшуюся в кресле. В соседней комнате, где тоже сидели и расхаживали люди, кто-то начал то ли хохотать, то ли задыхаться, а может быть, ни то и ни другое. Мальчик, открывший мне дверь, прошел мимо со стаканом воды, и я спросил его по-русски, нельзя ли мне поговорить с госпожой Еленой Гринштейн.

– Тетя Елена, – обратился он к затылку темноволосой стройной женщины, склоненной над пожилым господином в кресле.

Она подошла ко мне и пригласила в небольшую гостиную по ту сторону коридора. Она была очень молода и изящна, ее продолговатые нежные глаза на запудренном личике заканчивались, казалось, на висках. На ней был черный джемпер. Руки были так же грациозны, как и шея.

– Как это ужасно, – прошептала она.

Я довольно глупо ответил, что, наверное, зашел в неподходящее время.

– Ах, а я подумала... – Она взглянула на меня. – Присядьте. Мне показалось, что ваше лицо я только что видела на похоронах... Нет? Понимаете, умер муж моей сестры... Нет-нет, сидите. Ужасный был день.

– Не буду вас беспокоить, – сказал я. – Я лучше пойду... Я просто хотел поговорить с вами о моем родственнике... с которым вы, кажется, были знакомы... в Блауберге... но это не так важно...

– В Блауберге? Я там была два раза, – сказала она. Ее лицо передернулось – где-то в соседних комнатах зазвонил телефон.

– Его звали Себастьян Найт, – сказал я, глядя на ее нежные дрожащие ненакрашенные губы.

– Нет, я никогда этого имени не слышала, – сказала она. – Нет.

– Он наполовину был англичанином, – сказал я. – Он писатель.

Она покачала головой и обернулась к двери, которую распахнул печальный мальчик – ее племянник.

– Соня приедет через полчаса, – сказал он. Она кивнула, и он ушел.

– Вообще я в гостинице ни с кем не была знакома, – добавила она.

С новыми извинениями я стал откланиваться.

– А как же ваше имя? – спросила она, направив на меня затуманенный кроткий взор, напомнивший мне Клэр. – Вы, кажется, назвались, но я что-то сегодня плохо соображаю... Ах! – воскликнула она, когда я ответил. – Знакомая фамилия. Кажется, в Петербурге один человек с такой же фамилией был убит на дуэли. Так это ваш отец? Вот как! Постойте! Кто-то, не помню кто... буквально на днях об этом вспоминал. Как странно... Так всегда и бывает – такие совпадения. Вспомнила... Розановы... они знали вашу семью...

– У моего брата был одноклассник Розанов.

– Вы их найдете в телефонной книге, – торопливо продолжала она, – понимаете, я их не так уж хорошо знаю, а сейчас вообще не в состоянии что-нибудь искать.

Ее кто-то позвал, и я в одиночестве побрел обратно в прихожую. Там я нашел пожилого господина, который, усевшись на моем пальто, задумчиво курил сигару. Сперва он никак не мог взять в толк, чего я хочу, потом рассыпался в пылких извинениях.

Мне стало немного жаль, что Елена Гринштейн – не та, кого я искал. Той, что принесла Себастьяну столько горя, быть она, конечно, никак не могла. Женщины этого типа строят, а не разбивают жизнь мужчины. Вот и теперь она терпеливо восстанавливает потрясенный горем дом, да еще нашла возможным выслушать явившегося к ней по прямо-таки безумному делу совершенно ненужного пришельца. И не только выслушала – еще и навела на след, по которому я тотчас устремился. Хотя ни к Блаубергу, ни к загадочной незнакомке эти люди отношения не имели, они раскрыли передо мной драгоценные страницы жизни Себастьяна. Ум, более систематический, нежели мой, поместил бы их вначале, но мои поиски рожают свою собственную магию и свою логику, и если мне даже кажется порой, что окружающая реальность – лишь канва для прихотей сновидения, в которое перерастают эти розыски, я не могу не признать, что меня влекло по верному пути, и в своих попытках

рассказать о жизни Себастьяна мне остается лишь следовать тем же ритмическим извивам.

В том, что встреча, связанная с первой юношеской любовью Себастьяна, оказалась причастна к отзвукам его последней темной страсти, соблюден, кажется, закон некоей странной гармонии. Два лада его жизни вопрошают друг друга, и ответ — сама жизнь; ближе не подойти к человеческой правде. Ему было шестнадцать, ей столько же. Гаснет свет, поднимается занавес, открывая летний русский пейзаж: излучина реки, наполовину затененная елями, растущими на крутом глинистом обрыве и своими густо-черными отражениями почти достающими другого берега — низкого, солнечного и манящего, усыпанного болотными цветами и серебристыми пучками трав. Себастьян, коротко стриженный, с непокрытой головой, в свободной шелковой рубашке, обтягивающей ему то лопатки; то грудь, когда он наклоняется вперед и откидывается в ярко-зеленой лодке, с наслаждением налегает на весла. У руля сидит девушка, но мы ее раскрашивать не станем — просто абрис, белый силуэт, не прописанный живописцем. Темно-синие стрекозы медленно и прерывисто летают туда и обратно, потом садятся на плоские листья кувшинок. Стрижи то и дело выпархивают из своих дырок-гнезд в красной глине обрыва, запечатлевшей имена, даты и даже лица. У Себастьяна ослепительные зубы. Вот он перестает грести, оглядывается, и лодка с шелковым шелестом врезается в камыши.

— Никудашный ты кормчий, — говорит он. Декорация меняется: другая излучина той же реки.

Тропинка сбегает к воде, останавливается и, подумав, сворачивает, чтобы описать петлю вокруг грубо сколоченной скамейки. Еще не совсем вечер, но воздух уже золотится, и мошки исполняют свой простенький туземный танец в солнечном луче, процеженном сквозь листву осины, которая, забыв, наконец, про Иуду, на диво недвижима.

На скамейке сидит Себастьян и вслух читает английские стихи по тетради в черной обложке. Вдруг он умолкает: чуть левее, над водой показалась златовласая головка наяды, длинные пряди струятся следом. И вот на другой берег вылезает из реки обнаженная фигура, сморкается, зажимая одну ноздрю большим пальцем: это длинноволосый сельский священник. Себастьян продолжает читать стихи сидящей рядом девушке. Художник еще не раскрасил белого пространства, если не считать загорелой худенькой руки, тронутой по внешней стороне светящимся пушком от запястья до локтя.

Картина опять меняется, как в Байроновом сне{47}. Ночь. В небе тесно от звезд. Спустя много лет Себастьян напишет, что ночное небо вызывает у него такое же болезненное чувство брезгливости, как, например, вид внутренностей в распоротом брюхе животного. Но тогда эта мысль еще не была им высказана. Очень темно. Там, где подразумевается аллея парка, не видно ни зги. Громоздящиеся пласты мрака, где-то кричит сова. Черная бездна, в которой вдруг начинает двигаться маленький зеленоватый кружочек: светящийся циферблат (в зрелые годы Себастьян ручных часов не терпел).

— Тебе действительно пора? — произносит его голос.

Последняя перемена: клином летят журавли, их нежные стоны растворяются высоко в бирюзово-голубом небе над порыжевшей березовой рощей. Себастьян снова не один; он сидит на пепельно-сером стволе поваленного дерева. Велосипеду, поблескивающему спицами в зарослях орляка, дан отдых. Проплывает огромная бабочка, садится на зарубку пня, веером разложив бархатные крылья. Завтра обратно в город, в понедельник – в гимназию.

– Так это конец? Почему ты говоришь, что зимой мы не будем видеться? – спрашивает он во второй или третий раз. Ответа нет. – Ты и вправду влюблена в этого студента?

Силуэт сидящей девушки так и остается незаполненным, если не считать руки: загорелые тонкие пальцы играют с велосипедным насосом. Рукояткой насоса рука пишет на мягком песке слово «да», пишет по-английски, чтобы смягчить удар.

Занавес падает. Да, это конец. Такая малость, но сердце разбито. Больше он не спросит товарища, сидящего за соседней партой: «Ну, как твоя сестра?» Нельзя будет спрашивать старую мисс Форбс, которая иногда еще заходит, про ее ученицу. И как станет он будущим летом ходить по тем же дорожкам и смотреть на закат и съезжать к реке на велосипеде? (А оно, это лето, почти целиком было потрачено на увлечение футуристом Паном.)

Так удачно все совпало, что к вокзалу Шарлоттенбург, где я должен был сесть на парижский скорый, вез меня не кто иной, как брат Наташи Розановой. Я сказал, что странно было беседовать о давнем лете в сказочной России с его сестрой – ныне полненькой матерью двух мальчиков. Он ответил, что как нельзя более доволен своей работой в Берлине. После нескольких неудачных попыток я снова навел его на разговор о школьных годах Себастьяна.

– У меня ужасная память, – сказал он, – и вообще я слишком занят, чтобы из-за всякой ерунды предаваться сантиментам.

– Но вы, конечно же, помните, – сказал я, – какой-нибудь такой необыкновенный случай. Мне все интересно.

Он засмеялся: «Или вы не потратили уйму часов на разговоры с моей сестрой? Вот кто прошлое обожает. Она сказала, что вы ее собираетесь вывести в вашей книге такой, как давным-давно, и ей прямо не терпится».

– Ну, пожалуйста, попробуйте что-нибудь вспомнить, – настаивал я упрямо.

– Да говорю я вам, что ничего не помню, странный вы человек. Это совершенно бесполезно. Да и рассказать-то нечего, кроме обычной чепухи про списывание, зубрежку да всякие прозвища учителей. Вообще-то, неплохое было время... Только, знаете, ваш брат... как бы это сказать... в гимназии вашего брата не очень-то любили...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Как мог заметить читатель, до сих пор я старался сводить на нет свое присутствие в этой книге, избегая ссылок на обстоятельства собственной жизни, хотя те или иные штрихи прояснили бы, возможно, всю картину моего расследования. Так что не стану и сейчас вдаваться в деловые затруднения, которые обнаружились по моем возвращении в Париж, где я жил более или менее оседло: к розыскам моим они никакого отношения не имеют, и если я и упомянул их походя, то лишь затем, чтобы подчеркнуть: тема последней любви Себастьяна настолько меня захватила, что я с радостью выкинул из головы все мысли о последствиях, какие могли повлечь для меня столь долгие каникулы.

Я не жалел, что начал с берлинского следа – там мне, по крайней мере, представился нежданный случай заглянуть еще в одну главу Себастьянова прошлого. Теперь, когда одно имя вычеркнуто, у меня оставались еще три возможности. Заглянув в телефонную книгу, я убедился, что имена «Граун (фон), Элен» и «Речной, Поль» («де», как я заметил, отсутствовало) соответствуют полученным мною парижским адресам. Перспектива встретиться с мужьями была малопривлекательна, но неминуема. Третья дама, Лидия Богемская, не числилась ни в одном из двух справочников, то есть ни в телефонной книге, ни в другом шедевре Боттэна^{48}, где адресаты даны по алфавиту названий улиц. Не беда, я знаю, где она когда-то жила, разыщу. Свой Париж я знаю хорошо, и мне сразу стало ясно, в какой последовательности делать визиты, чтобы уложить их в один день. Хочу добавить, если читатель удивлен моей манерой брать быка за рога, что я так же не люблю звонить по телефону, как и писать письма.

Дверь, в которую я постучал, открыл худой высокий пышноволосый человек в рубашке без воротничка, но медная подгалстучная запонка была на месте. В руке он держал шахматную фигуру – черного коня. Я поздоровался с ним по-русски.

– Входите, входите, – сказал он радостно, словно меня ждал.

– Меня зовут так-то, – сказал я.

– А меня, – вскричал он, – Пал Палыч Речной. – И он от души рассмеялся, словно отпустил добрую шутку. – Прошу вас, – сказал он, указывая фигурой на распахнутую дверь.

Он провел меня в скромную комнату со швейной машиной в углу и разлитым в воздухе собирательным запахом тесьмы и льняного белья. Боком к столу, накрытому клеенчатым шахматным полем с клетками, слишком тесным для фигур, сидел плотный мужчина. Он глядел на них искоса, а торчавший из угла его рта пустой мундштук глядел в другую сторону. Хорошенький мальчик лет четырех или пяти елозил коленями по

полу в окружении маленьких автомобильчиков. Пал Палыч с размаху опустил своего коня на стол, и у того отлетела голова. Черные тщательно привинтили ее обратно.

– Присаживайтесь, – сказал Пал Палыч. – Это мой двоюродный брат, – добавил он.

Черные поклонились. Я сел на третий, он же последний, стул. Дитя подошло ко мне и молча протянуло новенький красно-синий карандаш.

– Я могу взять твою ладью, – сказали мрачно Черные, – но у меня есть ход получше.

Он приподнял ферзя и осторожненько втиснул его в толчею желтоватых пешек, одну из которых олицетворял наперсток.

Пал Палыч молнией спикировал на ферзя и взял его слоном, после чего разразился оглушительным хохотом.

– А вот теперь, – сказали невозмутимо Черные, когда Белые кончили хохотать, – ты и попался как кур в ошип. Шах, голуба.

Пока шел спор, а белые пытались взять ход назад, я огляделся. Я заметил портрет, изображающий то, что было когда-то царской семьей. И усы знаменитого генерала, лет пять назад оприходованного Москвой{49}. Еще я заметил явственную пружинную анатомию клопиного цвета кушетки, на которой, боюсь, спали все трое – муж, жена и ребенок. Цель посещения показалась мне вдруг нелепой до безумия. Еще я почему-то вспомнил цепочку фантазмагорических визитов Чичикова. Мальчик стал специально для меня рисовать автомобиль.

– К вашим услугам, – сказал Пал Палыч (он проиграл – Черные складывали в старую картонную коробку фигуры, – за вычетом наперстка). Я произнес тщательно заготовленную фразу, что хотел бы видеть его жену, поскольку она была в дружбе... ммм... с моими немецкими друзьями (я боялся раньше времени упоминать имя Себастьяна).

– Тогда вам придется обождать, – сказал Пал Палыч. – Она ушла в город по делам. Думаю, скоро вернется.

Я решил ждать, хоть и чувствовал, что вряд ли мне сегодня удастся наедине побеседовать с его женой. Однако у меня была надежда искусными расспросами сразу же выяснить, знала ли она Себастьяна, а уж потом мало-помалу ее разговорить.

– А пока суд да дело, – сказал Пал Палыч, – хлопнем-ка мы немножко коньячку.

Ребенок, удовлетворившись выказанным мной интересом к его рисункам, направился к дядюшке, который немедленно посадил его к себе на колени и начал с невероятной скоростью весьма недурно рисовать очень красивую гоночную машину.

– Вы просто художник, – сказал я, чтобы что-нибудь сказать.

Пал Палыч, полоскавший стаканы в крохотной кухоньке, захохотал и крикнул через плечо:

– Да он вообще гений! Играет на скрипке, стоя на голове, перемножает телефонные номера за три секунды, он умеет писать свое имя перевернутыми буквами, да так, что не отличишь.

– А еще он такси умеет водить, – сказал ребенок, болтая тонкими грязными ножками.

– Я с вами пить не буду, – сказали Черные, когда Пал Палыч вернулся, неся стаканы. – Я лучше с мальчиком прогуляюсь. Где его одежки?

Отыскали пальто мальчишки, и они отправились. Пал Палыч стал разливать коньяк, говоря: «Вы должны меня извинить за эти стаканы. В России я был богатым, потом, десять лет назад, в Бельгии снова разбогател, а потом разорился. Будьте здоровы».

– Ваша жена шьет? – спросил я, чтобы не дать мячу остановиться.

– Да вот, занялась тут... – сказал он со счастливым смехом. – А я наборщик, но меня только что уволили. А жена наверное сейчас вернется. Я и не знал, что у нее есть знакомые немцы, – добавил он.

– По-моему, – сказал я, – они познакомились в Германии. Или в Эльзасе?

Он с воодушевлением наполнял свой стакан, но вдруг замер и уставился на меня, приоткрыв рот.

– Тут какая-то ошибка! – воскликнул он. – Это, наверное, моя первая жена. Варвара Митрофанна, та, кроме Парижа, сроду нигде не была. Не считая, конечно, России. Она сюда попала прямо из Севастополя через Марсель. – Он осушил свой стакан и захохотал.

– Недурной коньячок, – сказал он, с любопытством меня разглядывая. – А мы с вами раньше встречались? Или вы мою первую знали?

Я отрицательно покачал головой.

– Тогда вам повезло, крупно повезло! – вскричал он. – А ваши приятели-немцы отправили вас искать ветра в поле. Так что и не ищите, все равно не найти.

– Почему? – спросил я, сильно заинтригованный.

– Потому что, едва мы разошлись – а это было давненько, – я ее сразу потерял из виду. Кто-то ее видел в Риме, кто-то – в Швеции, но все это сомнительно. Мне-то совершенно все равно – здесь она или у черта в ступе.

– А вы не могли бы мне посоветовать, как ее искать?

– Не имею представления, – сказал он.

– А общие знакомые?

– Это ее знакомые, не мои, – сказал он, пожимая плечами.

– Может, у вас есть какая-нибудь фотография?

– Послушайте, – сказал он, – к чему это вы клоните? Что, ее ищет полиция? Я ведь, знаете, не удивился бы, если б узнал, что она международная шпионка. Мата Хари{50}! Она той же породы. То есть абсолютно. И потом... Понимаете, она ведь не из тех женщин, чтобы взять да и выкинуть из головы, когда она влезет вам в печенки. Она меня высосала просто дочиста, во всех смыслах. И душу из меня вытянула, и деньги. Я бы ее убил... Но этим пусть Анатолий занимается{51}.

– А кто он? – спросил я.

– Анатолий? Ну, палач, который тут при гильотине. Так вы, значит, не из полиции? Нет? Впрочем, это – ваше дело. А меня она, по правде сказать, довела до умопомешательства. Я с ней познакомился, знаете ли, в Остенде. Было это, дайте вспомнить... в двадцать седьмом году. Ей было тогда двадцать. Нет, и двадцати не было. Я знал, что у нее и любовник, и всякое такое, но мне было наплевать. Она так понимает, что жизнь – это пить коктейли, плотно ужинать этак часа в четыре утра, танцевать шимми или, как там это называется, осматривать бордели – это парижские хлыщи завели такую моду, – покупать дорогие платья и поднимать тарарам в гостинице, когда ей покажется, будто прислуга украла мелочь, которую потом сама же находит в ванной комнате... И прочее в том же духе, – вы это все найдете в любом дешевом романчике: это же типаж, типаж. Еще она любила выдумать себе редкую болезнь, чтобы поехать с ней на какой-нибудь модный курорт, а уж там...

– Постойте, – сказал я, – мне это важно. В июле двадцать девятого она была в Блауберге, причем она...

– Точно. Только это было уже под самый конец нашего супружества. Мы тогда жили в Париже и вскоре расстались, и я потом еще целый год ишачил в Лионе на заводе. Понимаете, я был просто разорен.

– Вы имеете в виду, что она встретила в Блауберге какого-то мужчину?

– Нет, ничего такого я не знаю. Видите ли, мне не кажется, чтобы она прямо уж так меня обманывала, что называется, на всю катушку. По крайней мере, я старался так думать, ведь около нее всегда вертелось стадо мужчин, и она, конечно, была не прочь, чтобы ее поцеловали, но я бы с ума сошел, если бы позволил себе ломать над этим всем голову. Раз, помнится...

– Простите, – я снова его прервал, – а вы уверены, что никогда не слыхали о ее знакомом-англичанине?

— Англичанине? Вы вроде про немцев говорили. Нет, не знаю. Американец, по-моему, был один молодой в Сан-Максime в двадцать восьмом году. Так он, когда Нинка с ним танцевала, всегда прямо сознание терял. А в Остенде и англичане могли быть, да и мало ли где еще. Но меня, по правде сказать, не очень-то интересовало гражданство ее воздыхателей.

— Вы, значит, совершенно уверены, что про Блауберг ничего не знаете... ну, а дальше?

— Нет, — ответил он, — не думаю, чтобы кто-нибудь мог ее там прельстить. У нее в это время был как раз очередной недуг, а она в таких случаях питается одним лимонным соком со льдом да огурцами и говорит о смерти, о нирване и тому подобном. У нее был пункт насчет Лхасы{52} — ну, вы знаете, что я имею в виду.

— Не назовете ли ее точное имя? — попросил я.

— Ну, когда мы с ней познакомились, ее звали Нина Туровец, а уж как там... нет, вам, я считаю, ее не найти. Я, между прочим, часто ловлю себя на мысли, что ее просто никогда не было. Я Варваре Митрофанне про нее рассказывал, она говорит, что это я посмотрел в кино плохую картину, и мне приснился дурной сон. Вы что, уже уходите? Она вот-вот вернется... — Он поглядел на меня и захохотал (он, по-моему, перебрал своего коньячку).

— Ой, я забыл, — сказал он. — Вам же не эта моя жена нужна. И кстати, — добавил он, — бумаги у меня в полном порядке. Могу вам показать *carte de travail*. [14] А если вы ее найдете, то я бы тоже хотел на нее взглянуть до того, как ее посадят. А может, лучше не надо.

— Благодарю вас за беседу, — говорил я, когда мы с чуть излишним жаром жали друг другу руки — сначала в комнате, потом в коридоре, потом в дверях.

— Это вам спасибо, — кричал Пал Палыч. — Мне, вы знаете, очень нравится про нее рассказывать. Жалко вот, не уцелело ни одной карточки.

Мгновение я стоял задумавшись. Все ли я из него выжал?... К нему-то уж всегда можно будет еще раз наведаться... Не могло ли быть случайного снимка в какой-нибудь курортной газете с автомобилями, мехами, собаками, модами сезона на Ривьере? Я и спросил его об этом.

— Все может быть, — ответил он. — Она как-то выиграла приз на маскараде, но где, не помню. Для меня тогда все города были как один большой ресторан и танцулька. — Он покачал головой, бурно рассмеялся и захлопнул дверь. По лестнице мне навстречу поднимались Черные вместе с мальчиком.

— В некотором царстве, — говорили Черные, — жил-был один автогонщик, и была у него белочка, и вот однажды...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Сперва я решил, что добился желаемого, что теперь мне, по крайней мере, известно, кто любовница Себастьяна; но очень скоро я остыл. Неужели ею могла быть первая жена этого болтуна, – размышлял я в такси, направляясь по следующему адресу. Стоит ли, в самом деле, дальше идти по этому следу, слишком уж правдоподобному? Разве образ, набросанный Пал Палычем, сам за себя не говорил? Капризная ветреница, порущающая жизнь глупца. Но не Себастьяна же? Я подумал о его остром отвращении к прямолинейной трактовке добра и зла, к страданиям заемного образца и уладам готового пошива. Женщина такого сорта стала бы немедленно действовать ему на нервы. О чем бы они могли разговаривать, даже если бы она умудрилась познакомиться в отеле «Бомон» с этим спокойным, необщительным, рассеянным англичанином? Сразу оценив, что у нее за душой, он, без сомнения, начал бы избегать встреч. Он, помнится, говаривал, что бойкие девы умом непритки, что ничего нет скучнее, чем охочая до развлечений красotka. И даже больше: если внимательно приглядеться к самой что ни на есть прехорошенькой особе, откуда она исходит сироп банальности, в ее красоте наверняка отыщется какой-нибудь маленький изъян, отвечающий изъяну ее мышления. Он, может, был и не прочь отведать яблока греха, ибо, исключая грехи против синтаксиса, к идее греха был равнодушен; но получить взамен яблочное желе – патентованное и в банках – увольте. Он мог простить женщине легкомыслие, но дутую таинственность – никогда. Бедовая девчонка, захмелевшая от пива, его бы позабавила, а вот от намеков какой-нибудь *grande cocotte*, [15] что она не прочь покурить чего-нибудь запретного, его бы передернуло. Чем больше я размышлял, тем менее вероятным все это выглядело. В любом случае не стоило заниматься сей особой, не проверив двух других вариантов.

Вот почему я с таким нетерпением переступал порог щеголеватого дома в весьма шикарной части Парижа, к которому меня подвез таксомотор. Горничная сказала, что мадам нет дома, но при виде моего разочарования попросила немного подождать и вернулась со словами, что, если мне угодно, я могу поговорить с мадам Лесерф, подругой мадам фон Граун. Ко мне вышла хрупкая маленькая дама с бледным лицом и мягкими черными волосами, – думаю, мне еще не случалось видеть столь ровной бледности. На ней было глухое черное платье, а в руке она держала длинный черный мундштук.

– Так вы хотите видеть мою подругу? – спросила она, и в ее хрустально-прозрачном французском мне почудилась восхитительная старосветская обходительность.

Я представился.

– Да, я видела вашу карточку, – сказала она. – Вы ведь русский, не

правда ли?

– Я пришел по очень деликатному делу, – пояснил я. – Но скажите прежде, прав ли я, полагая, что мадам Граун – моя соотечественница?

– Mais oui, elle est tout ce qu'il y a de plus russe,[16] – ответствовала она своим нежным звенящим голосом. – Муж ее был немец, но он тоже говорил по-русски.

– О, – сказал я, – прошедшее время тут очень кстати.

– Вы можете быть со мною откровенны, – сказала мадам Лесерф. – Я обожаю деликатные поручения.

– Я родственник, – продолжал я, – английского писателя Себастьяна Найта, – он умер два месяца назад, и я надеюсь написать его биографию. У него была близкая приятельница, он с ней познакомился, когда в двадцать девятом году отдыхал в Блауберге. Я пытаюсь ее отыскать. Вот, кажется, и все.

– Quelle drôle d'histoire![17] – воскликнула она. – А что бы вы хотели от нее услышать?

– Да все, что ей заблагорассудится... Но должен ли я понимать... вы действительно думаете, что мадам Граун и есть та дама?

– Очень возможно, – сказала она, – хоть и не помню, чтобы я от нее когда-нибудь слышала это имя... как вы сказали?

– Себастьян Найт.

– Нет, не слыхала. Но все же вполне возможно. У нее всегда заводятся друзья, где бы она ни жила. Il va sans dire,[18] – добавила она, – вам следует поговорить с ней самой. Я уверена, она вам покажется очаровательной. Какая, однако, странная история, – повторила она, глядя на меня с улыбкой. – Зачем вам писать о нем книгу и как получилось, что вы не знаете имени этой дамы?

– Себастьян Найт был человек довольно скрытный, – пояснил я. – А ее письма, которые у него хранились... понимаете, он пожелал, чтобы после его смерти они были уничтожены.

– Правильно, – сказала она, оживляясь, – я его вполне понимаю. Всегда жгите любовные письма. Прошное – самое благородное горячее. Не подать ли чаю?

– Нет, – отвечал я. – Чего бы я хотел, так это узнать, когда можно видеть мадам Граун.

– Скоро, – ответила мадам Лесерф. – Сейчас ее нет в Париже, но, может быть, вы могли бы зайти завтра? Да, это наверное будет в самый раз. Она может вернуться уже сегодня вечером.

– Прошу вас, – сказал я, – расскажите немного о ней.

— Что ж, это нетрудно, — сказала мадам Лесерф. — Она хорошо поет. Ну, знаете, цыганские песни. Она необыкновенная красавица. Elle fait des passions.[19] Я страшно ее люблю, и для меня в этой квартире всегда есть комната, когда я бываю в Париже. Вот, кстати, ее портрет.

Она бесшумно и неторопливо прошла по устланной толстым ковром гостиной и сняла с рояля большую обрамленную фотографию. С минуту я рассматривал полуотвернутое от зрителя изысканно-красивое лицо. Мягкий изгиб щеки и пропадающий взлет брови — очень русские, подумал я. На нижнем веке и налитых темных губах лежало по блику. Выражение лица показалось мне странной смесью мечтательности и коварства.

— Да, — сказал я. — Да...

— Так это она? — испытующе спросила мадам Лесерф.

— Возможно, — отвечал я, — и мне не терпится ее увидеть.

— Я попробую разведать сама, — сказала мадам Лесерф с очаровательным видом заговорщицы. — По-моему, гораздо достойнее написать книгу про людей, которых знаешь, чем сделать из них котлетный фарш, а потом подавать это как беллетристику!

Я поблагодарил ее и попрощался на французский лад. Ручка у нее была на удивление маленькая, и когда я чуть сжал ее ненароком, она поморщилась, так как на среднем пальце носила большое кольцо с острым камнем. Я тоже о него укололся.

— Завтра в это же время, — сказала она с нежным смехом.

Очаровательное спокойствие, бесшумная походка. Я ничего еще не узнал, но чувствовал, что успешно продвигаюсь вперед. Оставалось еще очистить совесть в отношении Лидии Богемской. Она съехала несколько месяцев назад, но вроде бы квартирует в отельчике напротив. Там мне заявили, что дамочка недели три как переехала на другой конец города. Я спросил своего осведомителя, не русская ли она? Он отвечал утвердительно. «Привлекательная брюнетка?» — спросил я, пользуясь испытанным приемом Шерлока Холмса. «Точно так», — отвечал он больше, чтобы отвязаться (правильный ответ был бы: «Да нет же, уродливая блондинка»). Спустя полчаса я входил в угрюмого вида здание неподалеку от тюрьмы Санте. Дверь на мой звонок открыла толстая багровощекая матрона с ярко-оранжевыми завитыми волосами. Ее накрашенные губы были опушены темной порослью.

— Могу ли я говорить с мадемуазель Лидией Богемской? — спросил я.

— C'est moi,[20] — ответила она с невероятным русским акцентом.

— Тогда я сейчас кое-что принесу, — пробормотал я, поспешно удаляясь. Иногда мне кажется, что она так и ждет до сих пор в дверях.

Когда я на следующий день снова пришел в дом мадам фон Граун, горничная провела меня уже в другую комнату — подобие будуара, всеми силами старавшегося выглядеть обворожительно. Я еще накануне успел заметить, что в квартире очень жарко, а поскольку погода стояла хоть и явно сырая, но никак не холодная, такой разгул центрального отопления показался мне чрезмерным. Ждать меня заставили довольно долго. На пристенном столике валялось несколько французских романов, не совсем новых и в большинстве увенчанных литературными премиями, а также изрядно почитанный «Сан-Микеле» д-ра Акселя Мунте{53}. В застенчивой вазе стояли гвоздики. В комнате было еще немало хрупкой дребедени — возможно, совсем недурной и недешевой, но я всегда разделял почти патологическую нелюбовь Себастьяна ко всему фарфоровому и стеклянному. Дело венчал прикинувшийся мебелью лакированный предмет, где прятался, судя по всему, кошмар из кошмаров — радиоприемник. Подводя итоги, Елену фон Граун можно было, пожалуй, расценить как особу «культурную и со вкусом».

Наконец дверь отворилась, и в комнату стала бочком пробираться вчерашняя дама — именно бочком, то и дело оборачиваясь к чему-то, что оказалось скулящим черным бульдогом с лягушачьей мордой, который, как видно, вовсе не хотел сюда идти.

— Сапфир, — предостерегла она, подавая маленькую холодную руку.

Она уселась на синий диванчик и подтащила тяжелого пса.

— *Viens, mon vieux, viens.* [21] — Дыхание у нее еще не успокоилось. — Совсем без Элен зачах, — добавила она, с удобством устраивая зверя в подушках. — Такая жалость, я считала, что она приезжает сегодня утром, но она позвонила из Дижона и сказала, что до субботы ее не будет. (Нынче был вторник.) Страшно сожалею, но я не знала, как вам сообщить. Вы очень разочарованы? — спросила она, глядя на меня. Она положила подбородок на сплетенные пальцы, ее острые локти в обтягивающем бархате упирались в колени.

— Что ж, — сказал я, — если вы мне еще что-нибудь расскажете про мадам Граун, я, может быть, утешусь.

Не знаю почему, но атмосфера этого места как-то настраивала на книжные обороты.

— Более того, — сказала она, поднимая палец с острым ноготком, — *j'ai une petite surprise pour vous*, [22] Но сначала чай.

Я понял, что чайной церемонии на сей раз не избежать — и действительно, горничная уже вкатывала столик со сверкающим сервизом.

— Сюда, пожалуйста, Жанна, — сказала мадам Лесерф. — Вот так. А теперь вы со всей откровенностью должны мне назвать, *tout ce que vous croyez raisonnable de demander à une tasse de thé.* [23] Наверное, раз вы жили в Англии, то хотите сливок. Знаете, вы похожи на англичанина.

– Я предпочитаю быть похожим на русского, – сказал я.

– У меня, боюсь, нет русских знакомых, кроме, понятно, Элен... Печенье, по-моему, довольно забавное...

– Так что же у вас за сюрприз? – спросил я. У нее была странная манера пристально на вас глядеть, но не в глаза, а ниже, словно у вас крошка на подбородке. Она была хрупковата для француженки, и я подумал, что ее черные волосы и прозрачная кожа очень привлекательны.

– Ах, – сказала она, – когда Элен звонила, я задала ей один вопрос, и... – Она остановилась, явно забавляясь моим нетерпением.

– И она ответила, – сказал я, – что никогда такого имени не слышала.

– Нет, – сказала мадам Лесерф, – она засмеялась, но я-то знаю этот ее смех.

Тут я, кажется, встал с места и заходил по комнате.

– Видите ли, – сказал я после паузы, – тут не совсем до смеха. Ей известно, что Себастьян Найт умер?

Мадам Лесерф прикрыла бархатные черные глаза в безмолвном «да» и снова поглядела на мой подбородок.

– Вы с ней виделись в последнее время – я имею в виду в январе, когда газеты писали о его смерти? Разве она не была опечалена?

– Мой друг, вы удивительно наивны, – сказала мадам Лесерф. – Любовь бывает разная, и печаль бывает разная. Допустим, Элен – та, кого вы ищете. Но из чего явствует, что она любила его настолько, чтобы горевать о его смерти? А может, она и впрямь его любила, но у нее свои взгляды на смерть, которые исключают всякую истерику? Что мы об этом знаем? Все это ее личное дело. Я думаю, что она сама вам все расскажет, а до этого не очень-то благородно так на нее нападать.

– Я вовсе не нападаю, – воскликнул я. – Очень жаль, если это прозвучало обидно. Но рассказывайте же. Как давно вы ее знаете?

– Да мы с ней до нынешнего года редко виделись – она, знаете, много путешествует, – а когда-то мы тут, в Париже, ходили в один лицей. Ее отец, по-моему, русский художник. Она была еще очень молода, когда вышла замуж за этого дурака.

– Какого дурака? – спросил я.

– Своего мужа, конечно. Большинство мужей дураки, но тот был hors concours. [24] К счастью, длилось это недолго. Попробуйте мои. – Она протянула мне и зажигалку. Бульдог забурчал во сне. Она подвинулась и свернулась на софе калачиком, освобождая для меня место. – Вы, кажется, невеликий знаток женщин? – спросила она, поглаживая собственную пятку.

– Меня интересует одна, – сказал я.

– А сколько вам лет? – продолжала она. – Двадцать восемь? Я угадала? Нет? Значит, вы старше меня. Ну, неважно. Так что я говорила?.. Да, знаю я о ней немало – кое-что от нее самой, кое-что от других. Она в своей жизни любила одного-единственного человека, да и то женатого, причем еще до своего замужества, когда она была, заметьте, совсем подростком, и он от нее, кажется, просто устал. Потом у нее было несколько романов, но они уже не имели значения. *Un cœur de femme ne ressuscite jamais.*[25] Потом случилась еще одна история – она мне всю ее рассказала от начала до конца, – история довольно грустная.

Она засмеялась. Зубы ее казались великоватыми для маленького бледного рта.

– У вас такой вид, будто вы сами влюблены в мою подругу, – заметила она с издевкой. – Я вас, кстати, хотела спросить: как вы раздобыли этот адрес, вернее, что побудило вас искать Элен?

Я рассказал ей про четыре адреса, полученные в Блауберге, и назвал имена.

– Вот это да! – воскликнула она. – Вот это энергия! *Voyez-vous ça!* [26] И в Берлин ездили? Она еврейка? Какая прелесть? И других вы тоже нашли?

– Одну я повидал, – сказал я, – и с меня хватило.

– Которую? – заходясь от смеха, спросила она. – Которую? Речную?

– Нет. Ее бывший муж женат на другой женщине, а той и след простыл.

– Вы прелесть, прелесть, – сказала мадам Лесерф, утирая глаза платком и снова заливаясь смехом. – Так и вижу, как вы вламываетесь к невинной чете. Нет, ничего забавнее я никогда не слышала. И как его жена? Спустила вас с лестницы?

– Давайте оставим эту тему, – сказал я довольно решительно.

Ее веселье начинало меня раздражать. У нее, похоже, было присущее французам юмористическое отношение к матримониальной сфере, в другую минуту и я бы его разделил, но тут мне почудилось, что такое игриво-развязное отношение к моему расследованию как-то принижает память Себастьяна. Это чувство росло, мне стало казаться, что и вся моя затея такова, что своей неловкой ловлей призрака я каким-то образом сгубил самую возможность составить представление о последней любви Себастьяна. А может, его как раз бы позабавила гротескная сторона исследования его собственной жизни? Может быть, объект биографии усмотрел бы в них особый найтовский выверт, вполне искупающий промахи биографа?

– Пожалуйста, простите, – сказала она, кладя свою ледяную руку на мою и глядя исподлобья. – Не будьте таким недотрогой.

Она поспешно встала и направилась к этой штуковине из красного дерева в углу. Она склонилась к ней, и не успел я полюбоваться ее тонким, как у девочки, станом, как понял, что она собирается делать.

— Умоляю, только не это! — воскликнул я.

— Вот как? — сказала она. — А я думала, музыка вас умиротворит. Да и просто создаст атмосферу для беседы. Нет? Ну, как хотите.

Бульдог встал, встряхнулся и снова лег на место.

— Умница моя, — протянула она вкрадчивым голосом.

— Вы хотели что-то рассказать, — напомнил я.

— Да, — отозвалась она и снова уселась со мною рядом, одну ногу подсунув под себя и расправляя юбку. — Видите ли, я не знаю, кто был этот человек, но, как я поняла, был он не из легких. По словам Элен, ей нравилась его внешность, руки и манера речи. И она решила, что это будет потеха — сделать его своим любовником. Потому что, понимаете, он выглядел таким высоколобым, а ведь так, знаете, забавно, когда эдакий вот утонченный холодный умник вдруг опускается на все четыре лапы и виляет хвостиком. Чем вы опять недовольны, cher Monsieur?[27]

— Бога ради, что это вы такое рассказываете? — вскричал я. — Когда... где и когда это могло быть?

— Ah non merci, je ne suis pas le calendrier de mon amie. Vous ne voudriez pas?[28] Я же не выпытываю у вас имена и даты. Да если бы она их и называла, я бы сразу забыла. Пожалуйста, больше не задавайте вопросов — я рассказываю, что знаю, а не то, что вам хочется узнать. По-моему, он вам не родственник, потому что вы на него совсем не похожи — насколько, можно, конечно, судить по ее рассказам и по тому, что я вижу перед собой. Вы живой, хороший мальчик, а про него уж никак не скажешь «хороший». Когда же он почувствовал, что влюбляется в Элен, то сделался совершенно несносен. Нет, ни в какого сентиментального щенка он, против ожидания, не превратился. Он ей злобно говорил, что она никудышная дрянь, а потом целовал ее, дабы убедиться, что она не фарфоровая статуэтка. А она ею никогда и не была. И тут он понял, что жить без нее не может, а она поняла, что довольно наслушалась рассказов о его снах, снах во снах и снах во снах его снов. Заметьте, я никого не осуждаю. Может, оба правы, а может, ни один, но понимаете, моя подруга совсем не та заурядная женщина, какой он ее считал, это абсолютно другой случай. Она о людях, о жизни и смерти знает капельку больше, чем он, по его убеждению, знал сам. Он был из тех, кто считает, что современные книги — чушь, молодежь — сплошь дураки, а все оттого, что слишком был поглощен своими чувствами и мыслями, чтобы понимать чувства и мысли других людей. Нельзя даже себе представить, говорила она, что у него за вкусы и причуды, а как он высказывался о религии... думаю, просто возмутительно. "А моя подруга такая жизнерадостная, вернее, была, — très vive,[29] ну, вы

понимаете. Но стоило ему появиться – и она чувствовала, как превращается в прокисшую старуху. Дело еще в том, что он с ней никогда подолгу не оставался. Придет à l'improviste,[30] плюхнется на пуф, руки положит на набалдашник трости, даже перчаток не снимет, сидит и мрачно смотрит. Вскоре она подружилась с другим человеком, который ее боготворил и был к ней бесконечно внимательнее, добрее и отзывчивее, чем тот, кого вы ошибочно считаете братом, не злитесь, пожалуйста. Оба они были ей, в общем, безразличны, и она рассказывала, как уморительно вежливы были эти двое друг с другом, когда встречались. Она любит путешествовать, но только она найдет хорошее местечко, чтобы отдохнуть от забот, как он опять ей застит пейзаж – усядется за стол у нее на веранде и твердит, что она никудышная дрянь и что он жить без нее не может. А то еще пустится в рассуждения перед ее друзьями – les jeunes gens qui aiment à rigoler,[31] – такие, знаете, длинные и непонятные, насчет формы пепельницы или про окраску времени, и вот, смотришь, все разошлись, а он сидит на стуле один-одинешенек, сам себе глупо улыбается или считает себе пульс. Жаль, если он и впрямь ваш родственник, потому что вряд ли у нее от этих дней остались приятные воспоминания. Под конец это стало для нее сущим наказанием, и она ему запретила даже прикасаться к себе, потому что его мог от возбуждения хватить удар. И вот раз она узнает, что он приезжает ночным поездом, и тогда она просит молодого человека, который на все готов ради нее, встретить его и передать, что она его больше не хочет видеть, а если он станет добиваться встречи, то ее друзья расценят это как назойливое домогательство и поступят с ним соответственно. Наверное, это не очень красивый поступок, но она сочла, что в конечном счете для него так будет лучше. И это сработало. Он даже перестал посылать ей свои обычные умоляющие письма, которых она, впрочем, все равно не читала. Да нет же, речь явно идет совсем о другом человеке, и если я вам все это рассказываю, так это исключительно для того, чтобы дать вам представление о самой Элен, не о ее любовниках. Она была такая жизнелюбивая, всех готовая приветить, прямо лучилась этой vitalité joyeuse qui est, d'ailleurs, tout-à-tait conforme à une philosophie innée, à un sens quasi-réligieux des phénomènes de la vie.[32] И что получилось в итоге? Все мужчины, которых она любила, приносили ей тягостное разочарование, все женщины, за редким исключением, оказывались попросту кошками, а лучшие годы прошли в попытках найти счастье в мире, который делал все, чтобы ее сломить. Впрочем, познакомьтесь с ней – сами увидите, преуспел ли мир.

Довольно долго мы молчали. Увы, сомнений не оставалось: это был образ Себастьяна, правда, чудовищный – но ведь и получил я его из вторых рук.

– Да, – сказал я, – я непременно должен ее увидеть по двум причинам: во-первых, я ей хочу задать один вопрос, всего один. А во-вторых...

– Да? – спросила мадам Лесерф, отпивая холодный чай, – что же во-вторых?

– Во-вторых, я не в силах понять, чем такая женщина могла привлечь моего брата, – хочу увидеть ее своими глазами.

— Вы хотите сказать, — отозвалась мадам Лесерф, — что, на ваш взгляд, она ужасная роковая женщина? Une femme fatale?[33] Но все дело в том, что это не так. Она просто золото.

— Да нет же, — сказал я, — не роковая и не страшная. Скорее, если угодно, умная. Только... нет, надо посмотреть самому...

— Поживем — увидим, — сказала мадам Лесерф. — А теперь слушайте, у меня есть предложение. Боюсь, если вы заглянете в субботу, Элен будет в такой спешке — она всегда в спешке, — что она попросит вас прийти в воскресенье, забыв, что в воскресенье она собирается на неделю ко мне в деревню. И вы опять ее упустите. Одним словом, я думаю, что для вас будет лучше всего тоже ко мне приехать. Уж там-то вы с ней встретитесь совершенно точно. Так что приезжайте с утра в воскресенье, а пробудете, сколько захотите. У нас четыре свободных комнаты, я думаю, вам будет удобно. И потом, знаете, если я с ней сначала сама немножко поговорю, она будет подготовлена к вашей беседе. Eh bien, êtes-vous d'accord?[34]

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Как странно, раздумывал я: налицо словно бы фамильное сходство между Ниной Речной и Еленой фон Граун — по крайней мере между портретами, нарисованными мужем первой и подругой второй. Выбирать было бы особенно не из чего: Нина — пуста и тщеславна, Елена — коварна и жестока, та и другая — вздорны; обе не в моем вкусе, как, думаю, и не во вкусе Себастьяна. Любопытно, познакомились ли обе дамы в Блауберге. Они могли бы поладить, но это в теории, на самом же деле, вероятно, обменивались бы шипением и плевками. Зато теперь можно больше не искать Речную, и это — большое счастье. То, что мне порассказала о любовнике своей подруги молодая француженка, едва ли могло быть случайным совпадением. Что бы я ни пережил, слушая, как она обращалась с Себастьяном, мне трудно было удержаться от радости, что расследование близится к концу и я избавлен от немыслимой задачи откапывать первую жену Пал Палыча, которая с одинаковым успехом могла пребывать в тюрьме или в каком-нибудь Лос-Анджелесе.

Поскольку это был последний мой шанс, я попытался подстраховать свою встречу с Еленой фон Граун и, совершив неслыханное усилие, послал ей письмо по парижскому адресу, чтобы она прочла его по возвращении. Письмо было совсем короткое: я просто уведомлял, что приглашен ее подругой в Леско и принял приглашение единственно с целью ее увидеть. Я добавил, что хочу обсудить с ней кое-какие важные литературные дела. Последняя фраза была не вполне искренней, зато, по-моему, завлекательной. Я так и не понял, шла ли речь в давешнем телефонном разговоре с Дижоном, что я хочу с ней встретиться. Я безумно боялся, что в воскресенье мадам Лесерф мне ласково сообщит, что Елена вместо Парижа отправилась куда-нибудь в Ниццу. Отослав это

письмо, я по крайней мере счел, что сделал все от меня зависящее, чтобы свидание состоялось.

Я выехал в девять утра, чтобы к двенадцати, как договорились, быть в Леско. Садясь в поезд, я вдруг с содроганием осознал, что буду проезжать через Сен-Дамье, где умер и похоронен Себастьян. Никогда не забуду, как мне пришлось однажды сюда добираться. Но память отказывалась что-нибудь узнавать: когда поезд на минуту остановился у платформы Сен-Дамье одна лишь вывеска заверяла меня, что я здесь бывал. Сам городок выглядел таким простым, обыденным, степенным по сравнению с искаженным, словно из какого-то сна, образом, удержанным моей памятью. Или этот образ искажен теперь? Когда поезд тронулся, я испытал странное облегчение от того, что больше не блуждаю призрачными тропами, по которым ступал два месяца назад. Стояла прекрасная погода, и всякий раз, когда поезд останавливался, я слышал, казалось, легкое неровное дыхание весны, еще с трудом различимой, но уже несомненной. «Кордебалет, переминаясь на зябнущих ногах, ожидает в кулисах», – выразился как-то Себастьян.

Мадам Лесерф жила в огромном ветшающем доме. Десятка два старых больших деревьев исполняли обязанности парка. С одной стороны подступали поля, с другой – увенчанный фабрикой холм. Все почему-то имело какой-то пыльный, усталый, обносившийся вид; потом, когда я узнал, что дому всего лет тридцать с небольшим, я еще более подивился его старообразности. На ведущей к подъезду дорожке мне попался мужчина, торопливо скрипевший по гравию мне навстречу. Он остановился и пожал мне руку.

– Enchanté de vous connaître, [35] – сказал он, смерив меня меланхоличным взглядом. – Моя жена вас ждет. Je suis navré, [36] но в это воскресенье я должен быть в Париже.

Это был довольно обыкновенный средних лет француз, с усталыми глазами и автоматической улыбкой. Мы обменялись еще одним рукопожатием.

– Mon ami, [37] – вы опоздаете на поезд, – донесся с веранды хрустальный голос мадам Лесерф, и он послушно посеменил прочь.

Сегодня на ней было бежевое платье, она ярко накрасила губы, но даже не подумала что-то сделать с прозрачной бледностью лица. На солнце ее волосы отдавали сизым, и я поймал себя на мысли, что передо мной, в конце концов, очень хорошенькая женщина. Мы прошли через две или три комнаты, имевшие такой вид, словно они негласно поделили между собой обязанности большой гостиной. В этом неприятном, путаном доме мы были, похоже, совершенно одни. На зеленом шелковом канapé валялась шаль; она в нее закуталась.

– Холодно, – сказала она. – Что я ненавижу, так это холод. Дотроньтесь до моих рук. Они согреваются только летом. Присаживайтесь, скоро нас позовут к столу.

– Когда точно она приедет? – спросил я.

— Ecoutez, [38] — сказала мадам Лесерф, — вы можете хоть ненадолго о ней забыть и поговорить о чем-нибудь другом? Ce n'est pas très poli, vous savez. [39] Расскажите что-нибудь о себе. Где вы живете, что делаете?

— Так будет она здесь сегодня?

— Да будет, упрямец вы эдакий, Monsieur l'entêté. [40] Будет всенепременно. Не будьте таким нетерпеливым. Вам известно, что женщинам не очень нравятся мужчины с idée-fixe? [41] А как вам показался мой муж?

Я отвечал, что он, должно быть, намного ее старше.

— Он очень мил, только ужасно скучный, — смеясь, продолжала она. — Я нарочно его отослала. Мы год женаты, а уже словно близимся к брильянтовой свадьбе. И дом этот я терпеть не могу. А вы что скажете?

Я отвечал, что вид у него капельку допотопный.

— Не то слово. Когда я впервые его увидела, он казался новехоньким, но с тех пор захирел и стал осыпаться. Я как-то пожаловалась своему доктору, что стоит мне дотронуться до каких-нибудь цветов, кроме гвоздик и нарциссов, как они вянут. Странно, правда?

— И что он ответил?

— Что он не ботаник. Была когда-то персидская царица вроде меня. Она сгубила весь дворцовый сад.

Пожилая и довольно мрачная служанка заглянула в дверь и кивнула хозяйке.

— Пойдемте, — сказала мне мадам Лесерф. — Судя по вашему виду, vous devez mourir de faim. [42]

В дверях мы столкнулись, потому что, когда я шел за ней следом, она вдруг остановилась и поглядела назад. Она вцепилась мне в плечо, и ее волосы коснулись моей щеки.

— Экий вы неуклюжий, — сказала она. — Я забыла пилюли.

Она вернулась за ними, и мы отправились через весь дом на поиски столовой. Наконец мы ее отыскали. Это была гнетущая комната; окно-фонарь в последнюю минуту, казалось, передумало и робко попыталось снова превратиться в обыкновенное. В две разные двери тихо вплыли две фигуры. Пожилая дама была, насколько я понял, кузиной господина Лесерфа. Речь ее не выходила за пределы вежливого мурлыканья при передаче блюд. Другой вошедший был довольно привлекательный мужчина в брюках гольф, с церемонным выражением лица и необычной седой прядью в редких светлых волосах. За всю трапезу он не проронил ни единого слова. Мадам Лесерф представила нас друг другу по-своему, одним торопливым жестом, не потрудившись назвать имен. Я заметил,

что она не обращает на блондина никакого внимания, будто он сидит за другим столом. Кушанья, хоть и хорошо приготовленные, были какие-то случайные. Вино, однако, оказалось превосходным.

Когда приборы отгремели первое блюдо, блондин закурил папиросу и удалился. Через минуту он вернулся, неся пепельницу. Мадам Лесерф, до этого поглощенная едой, сказала, взглянув на меня:

— Так вы, стало быть, в последнее время много путешествовали? А вот я ни разу не была в Англии, все как-то не получалось. Прескучное, должно быть, место. *On doit s'y ennuyer follement, n'est ce pas?*[43] Да еще туманы... И ни тебе искусства, ни музыки... Этот кролик приготовлен по-особому, надеюсь, вам понравится.

— Кстати, — сказал я, — чуть не забыл: я написал вашей приятельнице письмо, что буду здесь... нечто вроде напоминания.

Мадам Лесерф положила нож и вилку. Вид у нее был удивленный и раздосадованный.

— Как! — воскликнула она.

— Что ж тут плохого? Или вы думаете...

Мы молча доели кролика. Последовал шоколадный крем. Светловолосый господин аккуратно сложил салфетку, вставил в кольцо, встал и, слегка поклонившись хозяйке, удалился.

— Кофе будем пить в зеленой гостиной, — сказала мадам Лесерф служанке.

— Я на вас страшно зла, — сказала она, едва мы уселись. — Думаю, вы все испортили.

— Что же такого я сделал? — спросил я.

Она отвернулась. Маленькая тугая грудь ее вздымалась. (Себастьян где-то пишет, что такое бывает только в романах, но вот доказательство, что он не прав.) Еще, кажется, подрагивала голубая прожилка на бледной, почти девичьей шейке (тут я менее уверен). Ресницы трепетали. Да, она определенно была хороша. Не южанка ли? Например, из Арля. Нет, выговор парижский.

— Вы родом из Парижа?

— Благодарю, — сказала она, не глядя на меня. — Это ваш первый вопрос обо мне самой. Но это не искупает вашей вины. Глупее вы поступить не могли. Попробую, может быть... Извините, сейчас вернусь.

Я уселся поудобнее и закурил. Косой солнечный луч кишел пылинками: к ним добавились спирали табачного дыма и легко закружились, словно готовые всякий миг угодливо сложиться в живую картину. Не хотел бы, повторяю, тревожить эти страницы ничем относящимся ко мне лично; но мне кажется, что читателя (а кто скажет — может быть, и призрак

Себастьяна) позабавит, если я скажу: в голове у меня мелькнула мысль с ней переспать. Это было действительно странно, — она ведь одновременно и раздражала меня — вернее, ее речи. Я почувствовал, что теряю власть над собой. Однако к ее возвращению я мысленно встряхнулся.

— Ну вот, вы добились, — сказала она. — Элен нет дома.

— Tant mieux, [44] — отвечал я. — Она, должно быть, в пути, а вы, право же, должны меня понять: мне безумно не терпится ее увидеть.

— Но для чего, скажите на милость, вам понадобилось ей писать? — вскричала мадам Лесерф. — Вы ее даже не знаете. Я ведь вам обещала, что сегодня она здесь будет. Можно ли требовать большего? А если вы мне не верите, если решили меня проверять — alors vous êtes ridicule, cher Monsieur. [45]

— Да нет же, — чистосердечно отвечал я, — мне это и в голову не приходило. Я просто думал... как говорят у нас в России, каши маслом не испортишь.

— Какое мне дело до каши... и до России, — сказала она.

Что мне было делать? Я взглянул на ее руку, лежавшую возле моей. Рука слегка подрагивала, — она была в таком легком платье... по моему позвоночнику тоже пробежала дрожь, вызванная отнюдь не холодом. Поцеловать ей руку? Нужен ли с нею галантный ритуал, не буду ли я выглядеть полным дураком?

Она вздохнула и поднялась с места.

— Ладно, теперь уже ничего не поделаешь. Боюсь, вы ее спугнули, так что даже если она приедет... ну, неважно. Видно будет. Хотите осмотреть наши владения? Мне кажется, снаружи теплее, чем в этом печальном доме.

«Владения» состояли из сада и рощицы, которые я уже успел приметить. Стояло безветрие. Черные ветви, кое-где уже подернутые зеленым, казалось, вслушивались в свою потаенную жизнь. На всем лежала тень уныния и скуки. Таинственный садовник выкопал яму и ушел, оставив лопату ржаветь у кирпичной стены, возле которой он накидал кучу земли. Я припомнил, не знаю уж почему, одно недавнее убийство: убийца зарыл жертву в точно таком же саду.

После затянувшегося молчания мадам Лесерф произнесла;

— Вы, судя по всему, очень любили вашего сводного брата, если столько носитесь с его прошлым. Отчего он умер? Самоубийство?

— Да нет, — сказал я. — У него было больное сердце.

— А мне казалось, вы говорили, что он застрелился. Это было бы куда романтичнее. Я буду разочарована, если герою вашей книги придет конец в постели. Летом у нас здесь цветут розы, вон там, где грязь.

Но чтоб я тут провела еще хоть одно лето – увольте!

– Мне бы и в голову не могло прийти хоть в чем-то фальсифицировать его жизнь, – сказал я.

– Ну конечно, конечно. Я знала человека, который издал письма покойной жены и дарил потом знакомым. Почему вы думаете, что биография вашего брата кому-нибудь будет интересна?

– Вам доводилось читать... – начал было я, но в эту минуту у ворот остановился шикарный, хоть и изрядно замызганный автомобиль.

– Боже правый, – сказала мадам Лесерф.

– Может, это она? – воскликнул я.

Из машины выбралась дама – прямо в лужу.

– Да, это она, – сказала мадам Лесерф. – Только оставайтесь, пожалуйста, на месте.

Она побежала по дорожке, маша рукой, расцеловала приезжую, потом повела ее куда-то влево, и обе они исчезли за кустами. Я заметил их еще раз, когда, обойдя сад, они стали подниматься по ступенькам, потом скрылись в доме. Практически от Елены фон Граун у меня остались в памяти только незастегнутая меховая шубка да яркий шарф.

Я отыскал каменную скамеечку и на ней уселся. Я был возбужден и, скорее, собой доволен, ибо наконец-то настиг добычу. На скамейке лежала чья-то тросточка – я потыкал ею о влажную бурую землю. Успех! Нынче же вечером, как только я с ней поговорю, вернусь в Париж, и... В эти мысли втерся чужак – подкидыш, трепещущий уродец, юркнул и смешался с толпой... А надо ли вечером уезжать? Как она звучала, эта задыхающаяся фраза во второразрядном рассказе Мопассана? «Я забыл книгу». Но кажется, и я забываю про свою.

– Вот вы где, – раздался голос мадам Лесерф. – А я уже решила, что вы уехали.

– Ну как, все благополучно?

– Менее всего, – отвечала она спокойно. – Не знаю, что вы ей там написали, но она решила, что речь идет об одном кинематографическом начинании, которое она пробует затеять. Говорит, что вы ее загнали в ловушку. Теперь извольте делать, что я скажу. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра вы с ней не заговаривайте, но оставайтесь здесь и будьте по отношению к ней предельно любезны. Она обещала мне все рассказать, а потом, может, и вы с ней поговорите. Идет?

– Ужасно мило, что вы взяли на себя столько хлопот, – сказал я.

Она присела рядом со мной на скамейку, а поскольку скамейка была очень короткая, а я – как бы это сказать – скорее крепкого сложения, наши плечи соприкоснулись. Я облизал губы и тростью, которая

оставалась у меня в руке, стал чертить на земле.

— Что это вы рисуете? — спросила она и кашлянула.

— Свои мысленные волны, — глупо ответил я.

— Когда-то, — проговорила она вкрадчиво, — я поцеловала одного мужчину только за то, что он умел писать свое имя перевернутыми буквами.

Палка выпала у меня из рук. Я уставился на мадам Лесерф. Я разглядывал ее белый гладкий лоб, ее фиалково-темные веки, которые она опустила, должно быть неверно истолковав мой взгляд, крохотную бледную родинку на бледной щеке, тонкие крылья носа, верхнюю губу, поджавшуюся, когда она опустила свою темную головку, ровную белизну шеи, покрытые лаком розовые ногти на тонких пальцах. Когда она подняла голову, ее странно бархатные глаза — раек чуть выше обычного — глядели прямо на мои губы.

Я поднялся с места.

— Что это с вами? — сказала она. — Что вы такое подумали?

Я покачал головой. Впрочем, она была права. Я и в самом деле подумал кое о чем, что требовало немедленного решения.

— Как, мы уже идем в дом? — спросила она, когда мы двинулись по дорожке.

Я кивнул головой.

— Но она спустится еще не скоро. Скажите, почему вы дуетесь?

Тут я, кажется, остановился и снова на нее уставился. На этот раз — на ее стройную фигурку в облегающем платье цвета буйволовой кожи.

Я двинулся дальше в тяжелом раздумье, и вся в солнечных пятнах дорожка, казалось, хмурится мне в ответ.

— Vous n'êtes guère aimable, [46] — сказала мадам Лесерф.

На веранде стоял стол и несколько стульев. За столом сидел давешний светловолосый молчун и исследовал механизм своих часов. Садясь, я неловко задел его локоть, и он уронил какой-то винтик.

— Бога ради, — сказал он по-русски в ответ на мои извинения (э, да он русский? Отлично, это мне поможет).

Мадам Лесерф стояла к нам спиной, что-то напевая себе под нос и отбивая такт носком по каменному полу. Тогда я повернулся к своему молчаливому соотечественнику, нежившему свои поломанные часы, и тихо произнес по-русски:

— А у ней на шейке паук...

Рука нашей дамы взлетела к затылку, она повернулась на каблуке.

— Что? — спросил недогадливый мой земляк, подняв взгляд. Потом он посмотрел на даму, неловко усмехнулся и снова занялся часами.

— J'ai quelque chose dans le cou[47]... Я же чувствую! — воскликнула мадам Лесерф.

— Между прочим, — сказал я, — я как раз говорил этому русскому господину, что и мне показалось, будто у вас паучок на шее сидит. Но я ошибся, это была игра света.

— Может, заведем граммофон? — спросила она находчиво.

— Очень сожалею, но мне, видимо, пора. Вы ведь не рассердитесь на меня?

— Mais vous êtes fou![48] — вскричала она. — Вы разве не хотите увидеть мою подругу?

— Как-нибудь, надеюсь, в другой раз. — сказал я успокаивающим тоном, — в другой раз.

— Объясните, — сказала она, выходя за мной в сад, — что случилось?

— Это было очень остроумно, — сказал я на нашем могучем, правдивом, свободном языке, — было очень остроумно заставить меня поверить, что вы говорите о вашей подруге, хотя вы все время говорили о себе. Этот маленький розыгрыш мог бы длиться очень долго, если бы судьба не толкнула вас под локоток и вы бы не попались с поличным. Дело в том, что я случайно знаю двоюродного брата вашего бывшего мужа, того самого, что умеет ставить перевернутую подпись. И я устроил небольшое испытание. И после того как вы нечаянно отозвались на брошенную в сторону русскую фразу...

Нет, ничего такого я ей не сказал. Откланявшись, я просто пошел прочь из сада. Пошлю ей экземпляр этой книги, и она поймет.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Вопрос, который я хотел задать Нине, так и не был задан. Я хотел спросить: посещала ли ее когда-нибудь мысль, что этот изможденный человек, чье присутствие столь ее тяготило, — один из самых замечательных писателей своего времени? Но что было бы пользы в подобном вопросе? Книги для такой женщины — пустой звук: собственная жизнь кажется ей не менее увлекательной, чем сто романов. Если бы ее приговорили целый день просидеть под замком в библиотеке, ее,

пожалуй, нашли бы мертвой уже к полудню. Я совершенно уверен, что Себастьян никогда не упоминал при ней о своем сочинительстве: это было бы то же, что говорить летучей мыши про солнечные часы. Так что пусть летучая мышь кружит и трепыхается в густеющем сумраке – неуклюжая пародия ласточки.

В эти последние, самые печальные годы своей жизни Себастьян написал свой бесспорный шедевр – «Сомнительный асфодель{54}». Где и как он его писал? В читальном зале Британского музея (вдали от недреманного ока г-на Гудмэна). За столиком в дальнем углу парижского бистро (не из тех, какое облюбовала бы его метресса). В шезлонге под оранжевым зонтиком где-нибудь в Каннах или Жуане{55}, где она его бросила, отправившись куда-то кутить со своей сворой. В зале ожидания безымянной станции между двумя сердечными приступами. В гостинице под звон перемываемой во дворе посуды. Во множестве других мест, о которых могу лишь догадываться. Сюжет прост: человек умирает, и вся книга – это его угасание; его мысли и воспоминания пронизывают ее всю то с большей, то с меньшей отчетливостью (так учащается и ослабевает дыхание больного); сначала один, за ним другой образ сворачивается, как парус, чтобы тут же опять ненадолго ожить на ветру или даже быть выброшенным на берег, где он, подрагивая с минуту, живет своей жизнью, пока потемневшее море не сносит его обратно в пучину, и в ней он тонет или странно преображается. Человек умирает, и он – герой повести; но если другие персонажи живут в ней по вполне реалистическим (в найтовском, по крайней мере, смысле) меркам, то читателя продолжают держать в неведении, кто этот умирающий, где стоит или плывет его смертное ложе, и ложе ли это. Он есть книга: и книга умирает со стоном, испуская призрачный дух. Мысли-образы чередой выносятся на берег сознания, и мы следим за явленным нам существом или предметом: за разбросанными останками чьей-то загубленной жизни, за медлительными фантазмами, влачащимися по земле, раздвигаящими многоочитые крылья. Но все эти чужие жизни – не более чем комментарии к главной теме. Мы наблюдаем, как добряк Шварц, старый шахматист, присев на стул в некоей комнате в некоем доме, обучает мальчика-сироту ходам коня; встречаем толстую богемскую цыганку с седой прядью в грубо и намертво покрашенных волосах; слушаем запальчивую речь бледного бедолаги, обличающего тиранию перед внимательным шпиком в пивном заведении с дурной славой. Высокая прелестная примадонна, торопясь, наступает в лужу – пропали ее серебряные туфельки. Девушка с нежным рисунком губ, одетая в траур, утешает рыдающего старца. Профессор Нуссбаум, швейцарский ученый, в половине четвертого утра выстрелом из пистолета убивает в гостиничном номере свою молодую любовницу, потом себя. Эти люди, да и другие тоже, приходят и уходят, распахивая и затворяя двери, живя ровно столько, сколько освещен их путь, и всех по очереди поглощают волны главной темы: человек умирает. Вот он как будто шевелит рукой или кладет поудобней голову на подразумеваемую подушку – стоит ему шевельнуться, как чья-то жизнь, за которой мы только что следили, сходит на нет, сменяется другой. Временами он вспоминает о себе самом, и тогда мы чувствуем, что движемся по стержни романа.

«Теперь, когда уже поздно и магазины Жизни закрыты, он стал жалеть, что так и не купил книги, о которой всегда мечтал; что ни разу не

угодил в железнодорожное крушение, землетрясение, пожар; что не увидел Дацзяньлу{56} в Тибете, не слышал стрекота синеперых сорок в ветвях китайской ивы; что не заговорил с той школьницей с бесстыдными глазами, невесть куда державшей путь через пустынную поляну; что не засмеялся, когда неуклюже пыталась пошутить застенчивая дурнушка, и другие вокруг промолчали тоже; что упускал возможности, поезда и намеки; что не подал монетки уличному старику музыканту, который туманным днем, в позабытом городе, сам для себя наигрывал вибрирующую мелодию на скрипке».

Себастьян Найт всегда любил жонглировать темами, сталкивать их или хитроумно сплести, заставляя обнаруживать скрытое значение, только через последовательность волн и постигаемое: так устроен китайский буй – волнение на море рождает в нем музыку. В «Сомнительном асфоделе» этот прием доведен до совершенства. Важны не сами части, важно, как они сочетаются.

Есть, видимо, своя система и в том, как автор описывает физический процесс умирания (ступени в темноту): с точки зрения мозга, тела, легких. Сначала мозг выстраивает определенную иерархию идей о смерти. Вот мнимо–глубокомысленные пометы на полях одолженной книги (в сцене с философом):

«Притяжение смерти: физический рост наоборот, вроде удлинения висячей капли, которая наконец срывается в пустоту».

Мысли религиозные и поэтические:

«...болото смрадного материализма и золотые парадизы тех, кого преподобный Парк{57} называет оптимистиками...»

«Но умирающий знал, что никакие это не идеи, что лишь одну сторону понятия «смерть» можно признать реально существующей: эту сторону – боль прощания, медленно уходящую вдаль набережную жизни с мелькающими платками – о, да ведь он уже по ту сторону, раз видит уходящий берег; но нет, не совсем, если еще может думать».

(Так пришедший проводить друга может сколько угодно оставаться на палубе – от этого он не станет путешественником.)

Мало–помалу демоны физического страдания погребает под терриконами боли всякую мысль, всякое любомудрие, надежду, упование, память, сожаление. Мы спотыкаемся и дальше бредем через омерзительные ландшафты, уже не заботясь о направлении, потому что все – мука и

нет ничего, кроме муки. Прием выворачивается наизнанку. Мысли и образы, светившиеся тем слабее, чем дальше мы углублялись по их следам в тупики, сменились медленным натиском страшных нелепых картин, берущих нас в кольцо осады. История замученного ребенка; повесть изгнанника о жестокой стране, откуда он бежал; а вот тихий сумасшедший с подбитым глазом; вот фермер, пинающий своего пса – свирепо, похотливо. Наконец, угасает и боль. «Он до того плохо себя чувствовал, что потерял интерес к смерти», – так «храпят потные люди в набитом вагоне третьего класса; так школьник засыпает над нерешенной задачей». «Я устал, устал... шина катится, катится своим ходом, вилляя, замедляя бег...»

И тут книгу внезапно заливают волна света: «...словно кто-то рывком распахнул дверь, и люди в комнате, щурясь, повскакивали с мест и кинулись лихорадочно собирать узлы». Чувствуется, что мы на рубеже какой-то абсолютной правды, разящей величиим и при этом почти уютной в силу высшей своей простоты. Непревзойденная словесная магия подводит нас к мысли, что автор знает правду о смерти и готов поведать ее. Вот-вот, к концу этой фразы или к середине следующей, ну, может, капельку дальше, мы узнаем такое, от чего изменятся все наши представления, как если бы выяснилось, что с помощью особых, доселе не применявшихся движений рук можно летать.

«Самый тугой узел – это, в конце концов, лишь извивы бечевы; неподатливый для ногтей, он все равно сводится к легким ленивым петлям. Пальцы кровоточат – а узел уже распутан взглядом. Он (умирающий) и есть этот узел, который был бы развязан сразу, сумеи он найти и проследить ту нить. И не он один – распутано было бы все, все, что он только мог себе представить на языке наших детских понятий о пространстве и времени, причем то и другое – загадки, выдуманные человеком именно как загадки и в этом виде к нам возвращающиеся: бумеранги глупости... Вот он ухватился за что-то реальное, ничего общего не имеющее с мыслями, чувствами или опытом, вынесенным или не вынесенным из детского сада жизни».

«Абсолютный вывод», ответы на все вопросы жизни и смерти были запечатлены во всем, что он только знал в этом мире: так путешественник начинает понимать, что исследуемая им дикая страна – не случайное скопище природных явлений, а страница книги, где все эти леса и горы, поля и реки разместились так, чтобы составить осмысленную фразу; гласная озера переходит в плавную согласную склона; повороты дороги пишут свое послание почерком округлым и четким, как почерк отца; деревья общаются в пантомиме, понятной тем, кто выучил их азбуку жестов... Вот способ, каким наш путник, буква за буквой, прозревает пейзаж; точно так же запутанный рисунок человеческой жизни сводится к монограмме, теперь вполне ясной для внутреннего ока, разобравшего перевитые литеры. И проступившее слово потрясет простотой смысла; но еще поразительнее, может быть, то, что, живя земной жизнью, где рассудок взят в железное кольцо, в плотно пригнанную оболочку слов о собственной личности, никто даже случайно не проделывает этого нехитрого кульбита мысли, вмиг высвобождающего плененный дух, дарующего великое понимание. Загадка

решена.

«И поскольку значение всего сущего засияло сквозь внешние формы, многие мысли и события, прежде казавшиеся донельзя важными, съежились если не до ничтожества – ничтожным не могло быть более ничто, – то уж во всяком случае до масштабов мыслей и событий, ранее лишенных значения, а теперь его обретших».

И вот уже такие сияющие в нашем мозгу исполины, как наука, искусство и религия, выпали из привычной классификации и, взявшись за руки, радостно уравнились и слились. Так и вишневая косточка, и крохотная ее тень на крашеном дереве усталой скамьи, и обрывок бумаги, и любая малость из миллионов и миллионов ей подобных выросли до удивительных размеров. Переиначенный и Пересозданный мир раскрыл свой смысл душе, и это было столь же естественно, как дыхание их обоих.

Сейчас мы узнаем, что же он такое; слово будет сказано – и вы, и я, и каждый человек в этом мире хлопнет себя по лбу: «Какие же мы были олухи!» На этой последней излучине книги автор, похоже, мгновение медлит, словно взвешивая, разумно ли выпускать правду наружу. Он словно поднял голову, встал, оставил умирающего, за чьими мыслями он следит, и, отвернувшись, задумался: идти ли за ним до конца? Шепнуть ли слово, которое расколлет уютную тишину нашего рассудка? Шепнуть. Мы, что называется, далеко зашли, слово уже сложилось и будет произнесено. И вот мы снова обращаемся к нерезкому ложу, склоняемся над струящимся серым силуэтом – ниже, ниже... но минута сомнения была роковой: он умер.

Он умер, а мы так и остались в неведении. Асфодель на том берегу столь же сомнителен, как и прежде. В руках у нас мертвая книга. Или мы ошиблись? Иногда я переворачиваю страницы Себастьянова шедевра, и мне кажется, что «абсолютное решение» тут, что оно скрывается на какой-то слишком бегло прочитанной странице или сплелось с другими словами, чей привычный вид меня морочит. Я не знаю другой книги, рождающей подобное ощущение, – а может быть, именно этого и хотел автор?

Живо припоминаю день, когда я увидел в английской газете объявление о выходе «Сомнительного асфоделя». Она мне попала на глаза в холле парижской гостиницы, где я ждал человека, которого наша фирма хотела обольстить в интересах некоей сделки. Обольститель из меня неважный, да и само дело представлялось мне не столь многообещающим, как моим нанимателям. И сидя в уединении зловещего холла, и читая в издательской рекламе так красиво набранную рублеными литерами благородно-черную фамилию Себастьяна, я еще острее позавидовал его судьбе. Я не знал, где он, ведь мы не виделись по меньшей мере шесть лет, мне было невдомек, что он болен и несчастен. Напротив, это книжное объявление показалось мне воплощением благоденствия – я вообразил его в сияющем зале какого-то клуба, руки в карманах, уши горят, влажно блестят глаза, на губах играет улыбка, а все присутствующие толпятся вокруг него с бокалами в руках, смеются его шуткам. Это была дурацкая картина, но она засела в сознании

колеблющимися пятнами белых манишек, черными — смокингов, янтарными — бокалов с вином — и лиц, четких, как на цветных снимках с обложек иллюстрированных журналов. Я решил заполучить эту книгу, едва она выйдет в свет; другие его книги я тоже всегда добывал сразу, но эту почему-то особенно не терпелось. В этот момент вошел тот, кого я ждал. Это был англичанин, и довольно начитанный. Пока мы, прежде чем перейти к делу, несколько минут разговаривали о том о сем, я невзначай ткнул в газетное объявление и спросил его, читал ли он что-нибудь Себастьяна Найта. «Кое-что читал, — ответил он. — Что-то «Граненое» и «Стол находок». Я спросил его мнение. Он сказал, что это неплохо, только автор — ужасный сноб, по крайней мере в смысле интеллектуальном. Я спросил, что это значит, и он ответил, что ему кажется, будто Найт все время играет в какую-то выдуманную им самим игру, а правила от партнеров скрывает. Он добавил, что предпочитает книги, заставляющие думать, а к найтовским это не относится — они злят и ставят в тупик. После этого он заговорил о другом здравствующем писателе, которого ценил куда выше Найта. Я воспользовался паузой, чтобы перейти к делу. Переговоры оказались менее удачными, чем надеялась фирма.

«Сомнительный асфодель» вызвал много рецензий, в большинстве пространных и вполне лестных, однако проскальзывали намеки, что книга написана утомленным пером, а это не то же ли самое, что назвать автора старым занудой? Я даже уловил легкую жалость, словно они знают о писателе что-то неприятное и тягостное, чего в самой книге будто бы и нет, но что повлияло на их оценку. Один критик зашел совсем уж далеко, написав, что читал книгу «со смешанным чувством, ибо сидеть у постели умирающего — вещь довольно неприятная для читателя, толком не знающего, кто же сам автор — больной или врач». Почти все рецензенты давали понять, что книга несколько длинновата, что многие места непонятны и тем раздражают. Все хвалили Себастьяна Найта за «искренность», что бы сие ни значило. Интересно, что бы сказал Себастьян.

Свой экземпляр я одолжил приятелю, который продержал его несколько недель, а потом, так и не прочтя, забыл в поезде. Я купил другой и больше никому не давал. Да, из всех его книг — это моя любимейшая. Не знаю, заставляет ли книга «думать», и если нет, горевать не стану. Мне она нравится такой, как она есть. Мне нравится ее повадка. И я говорю себе иногда, что перевод ее на русский язык — не такое уж, может быть, и неподъемное дело.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Я более или менее сумел воссоздать события 1935 года — последнего года жизни Себастьяна. Умер он в самом начале тридцать шестого, и, глядя на эту цифру, я не могу избавиться от мысли о сокровенном сходстве между человеком и датой его смерти. «Себастьян Найт, сконч.

в 1936...» Эта дата кажется мне отражением его имени в подернутом рябью пруду. В извилах последних трех цифр есть нечто сродни ускользающим чертам Себастьяновой сущности... Тут я попытаюсь, как часто делал по ходу этой книги, выразить мысль, которая понравилась бы ему... Если я здесь и там не уловил хотя бы тень его мысли, если бессознательная работа рассудка не подталкивала меня время от времени к верному повороту в ему принадлежащем лабиринте, значит, мое сочинение потерпело постыдный провал.

Выход «Сомнительного асфоделя» весной тридцать пятого совпал с последней попыткой Себастьяна увидеть Нину. После того как кто-то из ее молодых набриолиненных громил передал ему, что она желает раз и навсегда от него избавиться, он вернулся в Лондон и пробыл там месяца два, в своих бедных попытках обмануть одиночество появляясь на людях как можно чаще. То там, то здесь можно было встретить его худую, скорбную, безмолвную фигуру – он не снимал кашне даже в самой натопленной гостиной, доводил хозяек до отчаяния рассеянностью и кротостью, с какой уклонялся от всяких попыток его расшевелить, потом удалялся в разгар приема, а то еще бывал застигнут в детской над какой-нибудь игрой-головоломкой. Как-то раз Хелен Прэтт, проводив Клэр до книжного магазина неподалеку от Черинг-Кросс, продолжала было свой путь, как вдруг почти столкнулась с Себастьяном. Пожимая ей руку, он чуть зарделся, потом дошел с ней до входа в подземку. Она была рада, что он не появился минутой раньше, а еще более – что не стал трогать прошлого. Вместо этого он пустился в замысловатую историю о том, как накануне вечером два незнакомца пытались его околпачить в покер.

– Рад, что вас встретил, – сказал он, прощаясь. – Видимо, найду ее здесь.

– Кого – ее? – не поняла мисс Прэтт.

– Я ведь направлялся (он называл книжный магазин), но, кажется, эта книга есть вон в том киоске.

Он ходил на спектакли и концерты, среди ночи у кофейных лотков пил горячее молоко с таксистами, трижды, говорят, смотрел один и тот же фильм – совершенно неинтересный «Зачарованный сад». Месяца два спустя после его смерти – это было через несколько дней после того, как я выяснил, кто была на самом деле мадам Лесерф, – я наткнулся на этот фильм во французском синема и высидел сеанс с одной лишь целью: пытаюсь понять, чем же он так привлек Себастьяна. Где-то посередине картины действие переносится на Ривьеру, идут кадры с нежащими на солнце купальщиками. Не было ли среди них Нины? Вон то голое плечо – не ее ли? Девушка, оглянувшаяся на камеру, по-моему, довольно похожа, но ведь солнечного крема, загара и козырька над глазами более чем достаточно, чтобы полностью преобразить мелькнувшее лицо. Целую неделю в августе он очень болел, однако не дал доктору Оутсу уложить себя в постель. В сентябре он поехал за город к каким-то едва знакомым людям, – они пригласили его просто из вежливости, когда он случайно упомянул, что видел фотографию их дома в журнале «Пратлер». Целую неделю он бродил по довольно холодному обиталищу, где все прочие гости были близко между собой знакомы, потом как-то

утром, забыв смокинг и умывальные принадлежности, прошагал до станции десять миль и преспокойно вернулся в Лондон. В начале ноября он обедал с Шелдоном в его клубе и был до того неразговорчив, что его друг недоумевал, зачем он вообще явился. Дальше наступает провал. Он, несомненно, отправился за границу, но мне с трудом верится, чтобы он думал о новых попытках увидеться с Ниной, хотя, возможно, неугомонность его и питалась смутной надеждой такого рода.

Большую часть зимы 1935 года я провел в Марселе, занимаясь кое-какими делами своей фирмы. В середине января нового, 1936 года я получил от Себастьяна письмо по-русски, что было несколько странно.

«Я, как видишь, в Париже и явно застряну здесь на какое-то время. Если можешь приехать, приезжай; если нет — не обижусь; похоже, однако, что лучше приехать. У меня оскомина от множества мучительных обстоятельств, а пуще всего — от узора покинутой мной, подобно змее, выползины, и ныне я черпаю поэтическую усладу в том обычном и очевидном, мимо чего всю жизнь по той или иной причине проходил мимо. Мне, например, хотелось бы расспросить тебя, что ты поделявал все эти годы, и рассказать о себе: надеюсь, ты распорядился собой лучше, чем я. Последнее время часто вижу старого доктора Старова, который пользовал тамап (так Себастьян называл мою мать). Как-то вечером мы случайно увиделись на улице, когда я прибег к вынужденному отдыху на подножке чужого автомобиля. Он считает, видать, что после смерти тамап я так и прозябаю в Париже, и я принял его версию моего эмигрантского существования, — что-либо объяснять мне показалось слишком сложным. Если выйдет так, что тебе попадутся кое-какие мои бумаги, сожги их немедленно; они, правда, слышали голоса (в одно или два нечитаемых слова: что-то вроде «Дот чету»{58}?), но теперь должны подвергнуться аутодафе. Я их хранил и давал им ночлег, поскольку безопаснее позволить им спать, дабы, умерщвленные, они не зачастили к нам в качестве призраков. Как-то ночью, почувствовав себя особенно смертным, я подписал им приговор, по нему ты их и опознаешь. Я поселился было в той же гостинице, что и всегда, но теперь переехал за город, в некое подобие санатория, см. обратный адрес.

Это письмо было начато с неделю назад и до слова «жизнь» предназначалось другому лицу. Затем оно каким-то образом обратилось к тебе, как в незнакомом доме застенчивый гость заводит несообразно долгий разговор с приведшим его туда родственником. Так что ты уж прости, если я тебе докучаю, но мне как-то не очень нравятся эти голые ветви и сучья в моем окне».

Письмо, конечно, меня расстроило, но настоящего беспокойства не вызвало — я ведь не знал, что Себастьян с 1926 года страдает неизлечимым недугом и что последние пять лет состояние его стремительно ухудшалось. Должен со стыдом признаться, что моя естественная озабоченность приглушалась мыслью о том, что Себастьян был очень нервным и мнительным и всегда, когда ему нездоровилось, впадал в излишний пессимизм. Я не имел, повторяю, и малейшего понятия о его сердечной болезни и потому сумел убедить себя, что он

просто утомлен. И все-таки: он был болен, он просил меня приехать, просил тоном совершенно для меня новым. Никогда, кажется, он не нуждался в моем присутствии, но теперь положительно молил о нем. Это тронуло меня и озадачило, и, зная я всю правду, я вскочил бы в первый же поезд. Письмо прибыло в четверг, и я сразу решил, что поеду в Париж в субботу, а в воскресенье вечером отправлюсь обратно, зная, что фирма моя едва ли обрадуется, если я устрою себе отпуск на критической стадии того дела, за коим я, как считалось, присматривал в Марселе. Чем писать да объяснять, решил я, пошлю ему телеграмму в субботу утром, как только буду знать, смогу ли выехать самым ранним поездом.

И той же ночью я увидел на диво неприятный сон. Мне снилось, что я в большой полутемной комнате, которую сновидение торопливо обставило всякой всячиной из нескольких домов, смутно мне знакомых, но с пробелами и странными подменами, вроде, например, той полки, что была одновременно пыльным шоссе. Напоминало это комнату не то фермерского дома, не то деревенской гостиницы: эффект деревянных стен и дощатой обшивки. Мы ждем Себастьяна, он должен вернуться из какого-то долгого путешествия. Я сижу на чем-то вроде упаковочного ящика; здесь же и моя мать, мы сидим за столом, за которым пьют чай еще двое – мой сослуживец и его жена, причем Себастьян никогда их не знал, и все же постановщик снов их здесь усадил – просто чтобы заполнить сцену.

Ожидание наше тревожно, нас давят неясные предчувствия, и я понимаю, что остальные знают больше моего, но ужасно боюсь спросить, почему мою мать так беспокоит перепачканный глиной велосипед, который никак не лезет в платяной шкаф: дверцы не желают закрываться. На стене висит изображение парохода, волны на картинке двигаются подобно вереницам гусениц, пароход качается, и это раздражает меня, но я вспоминаю, что есть почтенный обычай – вывешивать такие картинки, когда ждут возвращения путника. Себастьян может появиться в любую минуту, и деревянный пол у двери посыпан песком, чтобы он не поскользнулся. Мать моя куда-то удалилась, захватив измазанные глиной шпоры со стремянами, которые не нашла куда спрятать. Та неотчетливая чета тоже тихо упразднена, и когда я остаюсь один в комнате, дверь наверху в галерее отворяется и возникает Себастьян, он медленно спускается по ненадежной лестнице прямо вниз. Волосы его всклокочены, он без пальто, – тут я понимаю, что он прилег отдохнуть с дороги и только что встал. Пока он спускался, застывая на каждой ступеньке, готовый продолжить движение с той же ноги, рука на деревянном поручне, – вернулась моя мать, и когда он оступается и съезжает на спину, она помогает ему встать. Смеясь, он направляется ко мне, но я чувствую, он чего-то стыдится. Он бледен и небрит, однако выглядит сравнительно бодро. Мать, держа в руке серебряную чашку, садится на что-то, оказавшееся носилками, поскольку ее уносят двое мужчин, которые, как с улыбкой сообщил мне Себастьян, по субботам ночуют в доме. Вдруг я замечаю, что у него на левой руке надета черная перчатка, что он ни разу этой рукой не воспользовался и пальцы ее неподвижны; и я, в брезгливом ужасе, боюсь, боюсь до дурноты, что он может ею неосторожно меня коснуться. Я уже успел понять: к его запястью прикреплено что-то неестественное, его оперировали, он стал жертвой какого-то ужасного происшествия. Мне

делается ясно, откуда этот оттенок жути в его облике, во всей атмосфере его возвращения, он же, хоть, по-моему, и заметил, как меня передернуло, продолжает чаепитие. Моя мать, воротясь на минуту за забытым ею наперстком, сразу уходит обратно – носильщики торопят. Себастьян спрашивает, пришла ли маникюрша, он хочет быть готовым к банкету. Я пытаюсь уклониться от этой темы, поскольку самая мысль о его изувеченной руке для меня нестерпима, и тут уже вся комната видится мне состоящей из обкусанных ногтей, а девушка (я ее знал, но, странно, образ ее уже улетучился) прибывает со своим маникюрным набором и садится перед Себастьяном на табурет. Он просит меня не смотреть, но я не могу отвести взгляда. Я вижу, как он расстегивает черную перчатку, как медленно стаскивает ее и как из нее вываливается содержимое – лавина крошечных рук, вроде передних лапок мыши, сиреневато-розовых и мягких, – и они сыплются на пол, а девушка в черном опускается на колени. Я наклоняюсь, чтобы разглядеть, что она делает, и вижу, как она собирает эти маленькие руки и кладет на блюдо. Я поднимаю взгляд, но Себастьян исчез, наклоняюсь снова – девушка тоже исчезла. Мне ясно, что я больше ни на миг не могу оставаться в этой комнате. Я поворачиваюсь и уже нащупываю щеколду, но сзади раздается голос Себастьяна; похоже, он доносится из самого дальнего, самого темного угла – только теперь это угол исполинского амбара; из продырявленного мешка у моих ног бежит струйка зерна. Я не могу разглядеть брата и так страстно рвусь наружу, что колотящая меня дрожь нетерпения забивает его слова. Мне понятно, что он зовет меня, говорит что-то очень важное, обещая сказать кое-что и поважней – лишь бы я пошел в угол, где он сидит – или лежит, – скованный тяжелыми мешками, завалившими ему ноги. Я делаю движение – и тут раздается его последний, громкий, настойчивый зов – фраза, лишившаяся смысла по извлечении из сна, там, во сне, прогремела, полная такой ослепительной важности, такого неистового желания разрешить для меня какую-то чудовищную загадку, что я все-таки кинулся бы к Себастьяну, не будь уже наполовину за пределами сна.

Я понимаю, что простая галька, оставшаяся на ладони после того, как рука, нырнув в воду по плечо, ухватила сиявший на бледном песке драгоценный камень, и есть тот желанный перл, хоть он и превратился в гальку, обсохнув на солнце повседневности. Вот почему я чувствовал, что бессмысленная фраза, звучавшая в моей голове в миг пробуждения, была на самом деле искаженным переводом какого-то ошеломляющего откровения; и пока я лежал на спине, вслушиваясь в знакомые уличные звуки, в дурацкое музыкальное радиокрошево, услаждавшее чей-то ранний завтрак в комнате у меня над головой, колющий холод ужасного предчувствия вогнал меня почти в физическую дрожь, и я решил послать Себастьяну телеграмму, что выезжаю сегодня же. В припадке идиотского благоразумия, которое вообще-то редко меня посещает, мне показалось, что надо бы осведомиться в марсельском отделении нашей фирмы, могут ли они обойтись без моего присутствия. Выяснилось, что не только не могут, но что вряд ли я даже сумею отлучиться на выходные дни. В эту пятницу после изматывающего дня я пришел домой очень поздно. С полудня меня дождалась телеграмма, но так непостижима доминанта каждодневных сует над хрупким откровением сна, что я ухитрился забыть его озабоченный шепот и, вскрывая телеграмму, ждал всего лишь деловых новостей.

«Состояние Севастьяна безнадежно приезжайте немедленно д-р Старов».

Телеграмма была на французском, но «в» в имени Севастьяна отражало его русскую форму. Непонятно почему, я прошел в ванную и на миг остановился перед зеркалом. Потом схватил шляпу и кинулся вниз. На вокзале я оказался без четверти двенадцать. Поезд, отходящий в 0.02, прибывал в Париж на следующий день около половины третьего.

Тут я обнаружил, что мне не хватает на билет второго класса, и с минуту терзался сомнениями: не лучше ли вернуться, взять денег и вылететь в Париж первым же аэропланом. Но стоявший под парами поезд представлял слишком большое искушение. И, как почти всегда в жизни, я пошел по пути наименьшего сопротивления. А о том, что письмо Севастьяна осталось у меня в столе и я не помню его адреса, я с ужасом вспомнил лишь тогда, когда поезд тронулся.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В набитом купе было темно, душно и полно ног. По стеклам сбегали капли; сбегали не прямо, а прерывистыми, сомневающимися зигзагами, то и дело замирая на бегу. В черном стекле отражался сине-лиловый ночник. Поезд стоял и метался, пронзая ночь. Как же все-таки называется этот санаторий? Как-то на «М». Как-то на «М». Как-то... Колеса сбились с устоявшегося ритма, но немедленно подхватили потерянный мотив. Я, конечно, могу узнать его адрес у доктора Старова. Сразу же по приезде позвонить ему с вокзала. Тяжкий ботинок чьего-то сновидения попытался встрять между моих лодыжек, потом не спеша ретировался. Что Севастьян имел в виду под «той же, что и всегда, гостиницей»? Я вообще не мог припомнить, где он в Париже останавливается. Старов, тот знает. Мар... Ман... Мат... Успею ли? Соседское колено надавило на меня, тем отмечая переключение с одного вида храпа на другой, более печальный. Застану ли его в живых? Суждено ли мне быть рядом при его последнем дне? Суждено ли мне... при последнем дне... суждено ли мне... Он должен мне что-то сообщить, что-то бесконечно важное. Темное, качающееся купе, набитое раскоряченными куклами, казалось мне уголком давешнего сна. Что он мне скажет перед смертью? Дождь плевал и бил в стекло; с краю пристроился и сразу растаял призрак снежинки. Некто передо мной медленно вернулся к жизни – похрустел газетой, почавкал во тьме, потом закурил, и круглый огонек уставился на меня, как глаз циклопа. Я должен, обязан успеть. Зачем я не бросился на аэродром, едва получив письмо? Я был бы уже с Севастьяном! От какой болезни он умирает? От рака? От грудной жабы, как его мать? Как часто бывает с людьми, в суете не думающими о религии, я спешно придумал мягкого, теплого, слезами затуманенного Бога и зашептал самодельную молитву. О, дай мне

успеть, дай ему продержаться до моего прихода, дай мне узнать его тайну. Вот уже все стало снегом: на стекле выросла серая борода. Тот, кто чавкал и курил, уже снова спал. Не попытаться ли вытянуть ноги, на что-нибудь их положить? Плавающими ступнями я произвел разведку, однако ночь сплошь состояла из костей и плоти. Вотще алкал я себе чего-нибудь деревянного под икры и лодыжки. Мар... Матамар... Мар... Далеко ли это от Парижа? «Д-р Старов». Д-р Александ-р Александрович Старов. Поезд гроыхал на стрелках, повторяя эти «д-р». Какая-то неведомая станция. Едва поезд остановился, в соседнем купе стали слышны голоса, кто-то рассказывал нескончаемую историю. Донесся звук отъехавшей двери; какой-то угрюмый пилигрим откатил и нашу, да понял, что дело безнадежно. *Etat désespéré*[49]. Я обязан успеть. Как долго этот поезд стоит на станциях! Сосед справа вздохнул и попытался протереть стекло, но оно осталось туманным, снаружи чуть подцвеченным желтизной. Поезд снова тронулся. Позвоночник ныл, кости налились свинцом. Я попытался закрыть глаза и задремать, но изнанка век была выстлана текучим узором, крошечные световые узелки проплывали на манер инфузорий, зарождаясь в одном и том же углу. Помоему, я узнал в их очертаниях станционный фонарь, давным-давно оставшийся позади. Потом добавилась раскраска, и ко мне стало поворачиваться розовое лицо с большими газельими глазами, его сменила корзина цветов, потом Себастьянов небритый подбородок. Я больше не мог выносить этот оптический рог изобилия и с бесконечными замысловатыми маневрами, напоминающими балетные па в замедленном фильме, выбрался в ярко освещенный и холодный коридор. Покуриив, я побрел вдоль него и некоторое время раскачивался над грязной рокошущей дырой в вагонном полу, потом прибрел обратно и выкурил еще одну папиросу. Ничего и никогда в жизни я не хотел так истошно, как застать Себастьяна живым, склониться над ним, разобрать его слова. Его последняя книга, мой недавний сон, загадочность его письма – все наполняло меня уверенностью, что с его уст должно сорваться какое-то невероятное откровение. Если они еще будут шевелиться. Если я не опоздаю. В простенке между окон висела карта, увы никак не связанная с маршрутом следования. Из глубины оконного стекла глядел мой темный двойник. *Il est dangereux... E pericoloso...*[50] Мимо прошмыгнул солдат с воспаленными глазами, и мое запястье, коснувшись его рукава, несколько секунд чудовищно зудело. Я жаждал смыть с себя следы грубого мира и предстать перед Себастьяном в холодной ауре чистоты. Я не смел оскорбить его обоняние миазмами рода человеческого, с которым он закончил дела. О, я застаю его в живых! Будь Старов уверен, что успеть невозможно, он бы иначе составил телеграмму. Телеграмма прибыла в полдень. Боже, в полдень! Прошло уже шестнадцать часов, а когда я еще достигну Мат... Мар... Рам... Рат... Нет, первая буква «М», а не «Р». Смутный силуэт имени промелькнул и растаял, прежде чем я успел всмотреться. Не возникла бы еще проволочка из-за денег. Надо будет заскочить с вокзала ко мне на службу, разжиться какой-то суммой. Это в двух шагах. До банка дальше. Не живет ли кто-нибудь из моих многочисленных друзей поблизости от вокзала? Нет, все обитают в двух русских кварталах Парижа – в Пасси или вокруг Порт-Сен-Клу. Погасив третью папиросу, я пошел искать менее населенное купе: к тому, которое я покинул, никакой багаж, слава Богу, меня не привязывал, но вагон был набит, а для путешествия вдоль состава у меня слишком муторно было на душе. Не могу сказать, было ли купе, куда я втиснулся, прежним или новым:

оно было так же полно ступней, колен, локтей — разве что не такой сырный дух. Отчего я так и не навестил Себастьяна в Лондоне? Он не раз меня приглашал. Почему я так упрямо его избегал? Эти кувшинные рыла глумились над его гением... особенно один старый дурак, чью дряблую шею мне прямо-таки нестерпимо хотелось свернуть. Ага, необъятное чудовище, заколыхавшееся слева, оказалось женщиной: боролись пот и одеколон, последний проигрывал. Ни одна душа в вагоне не знает, кто такой Себастьян Найт. Та глава из «Стола находок», столь скверно переведенная в журнале «Cadran»? Или в «La Vie Littéraire»? Или я опоздал, опоздал, и Себастьян уже мертв, а я все сижу на этой окаянной скамье, ее издевательски тощая обивка не обманет моих ноющих ягодичек. Скорее, скорее, умоляю! Почему вы считаете, что на этой станции стоит останавливаться? И так надолго! Мимо, мимо! Уф — давно бы так.

Мало-помалу тьма выродилась в сероватую муть, и за окном стал угадываться укрытый снегом мир. Я ужасно замерз в своем тонком дождевике. Из мглы стали проступать лица моих попутчиков, словно их понемногу расчищали от слоев паутины и пыли. У сидевшей рядом женщины был термос кофе, и она нянчилась с ним прямо-таки с материнской любовью. Я ощущал себя липким сверху донизу и мучительно небритым. Думаю, если бы щетина моей щеки коснулась шелка кашне, я бы лишился чувств. Единственное среди грязно-серых туч облако цвета окорока бросало блекло-розовый отсвет на полосы тающего снега в трагическом безмолвии нагих полей. Вывернулась откуда-то и минуту скользила вдоль поезда дорога; как раз перед тем, как ей отвернуть в сторону, мелькнул велосипедист, вилявший среди снега, слякоти и луж. Куда он ехал? Кто он? Никто никогда не узнает.

Кажется, примерно час я дремал — или, по крайней мере, сумел затемнить свое внутреннее зрение. Когда я открыл глаза, мои попутчики ели и разговаривали, а меня так затошнило, что я выбрался из купе и с головой пустой, как это убогое утро, остаток пути промаялся на откидном сиденье. Поезд, как оказалось, сильно запаздывал, вроде бы из-за ночной вьюги, так что мы прибыли в Париж только без четверти четыре пополудни. Я шел по перрону, стуча зубами, и на миг ощутил глупый соблазн потратить два-три звеневших в моем кармане франка на какой-нибудь крепкий напиток, но вместо этого поспешил к таксофону. Листая пухлую засаленную книгу в поисках доктора Старова, я старался не думать, что вот сейчас узнаю, жив ли еще Себастьян. Старкаус, *cuir, reaux*; [51] Старлей, *jongleur, humoriste*; [52] Старов... ага, есть: *Jasmin 61-93*. Уже приступив к отвратной процедуре, я забыл окончание номера, снова вступил в борьбу с книгой, набрал его вторично и, застыв, с минуту слышал зловещие гудки; кто-то распахнул дверь будки и отступил с гневным ворчанием. Диск возобновил трескотню возвратных вращений — пятое, шестое, седьмое — и вот опять гнусавое гуденье: *пи... пи... пи...* Почему я такой невезучий? «Закончили?» — спросил все тот же персонаж, злобный старец с бульдожьей рожей. Нервы мои были натянуты до предела, и я заорал на хрыча. По счастью, освободилась соседняя будка, и он захлопнулся в ней. Я продолжал попытки и наконец преуспел. Женский голос ответил, что доктора нет, но в половине шестого с ним можно будет связаться по такому-то номеру. Когда я появился в своей конторе, то вызвал там, не могу не отметить, легкое изумление; я

показал своему начальнику телеграмму, причем он выказал меньше сочувствия, чем разумно было бы ожидать, и начал въедливо расспрашивать о марсельских делах. Требуемые деньги были все же выданы, и я оплатил такси, дожидавшееся у дверей. Было без двадцати пять – предстоял битый час ожидания.

Я отправился бриться, торопливо позавтракал и в двадцать минут шестого набрал полученный мной номер. Мне ответили, что доктор ушел домой, но через четверть часа вернется. У меня не хватило терпения ждать, и я набрал домашний номер. Уже знакомый женский голос ответил, что он только что ушел. Откинувшись к стене (на сей раз это была кабинка в каком-то кафе), я долбил ее карандашом. Неужели я так и не доберусь до Себастьяна? Кто эти досужие ослы, что пишут по стенам «Бей жидов!», «Vive le front populaire!», [53] рисуют непристойности? Какой-то неизвестный художник начал зачеркивать квадратики – шахматная доска, ein Schachbrett, un damier... Мозг озарился вспышкой, слово вспрыгнуло на кончик языка: Сен-Дамье! Я выскочил вон и остановил такси. Отвезите меня в Сен-Дамье, где бы это ни было! Таксист неспешно развернул карту, некоторое время ее изучал, потом ответил, что по таким дорогам поездка займет часа два, не меньше. Я спросил, не считает ли он, что лучше поехать поездом. Этого он не знал.

– Что ж, едем, только скорее, – сказал я и, ныряя в автомобиль, сбил себе шляпу.

Потребовалось немало времени, чтобы выбраться из Парижа. На нашем пути возникали все существующие препятствия, и, думаю, мало что в жизни мне случалось так сильно ненавидеть, как руку полицейского на перекрестке. Из последней пробки мы выдрались наконец на длинную и темную дорогу, обсаженную деревьями, но и здесь скорость казалась мне недостаточной. Отодвинув стеклянную перегородку, я взмолился поднажать. Шофер ответил, что дорога слишком скользкая и раз-другой нас уже сильно занесло. После часа езды он остановился, чтобы спросить дорогу у полицейского, ехавшего на велосипеде. Они долго разглядывали карту ажана, потом шофер извлек свою, они стали их сличать. Мы где-то не туда свернули и теперь должны были возвращаться не меньше чем на две мили. Я снова постучал в стекло: такси просто еле ползло. Он потряс головой, даже не обернувшись. Я взглянул на часы, было почти семь. Мы остановились у заправочной колонки, и мой шофер вступил в доверительный разговор с ее хозяином. Я не мог понять, где мы, но, поскольку дорога теперь тянулась вдоль обширных полей, я стал надеяться, что мы приближаемся к цели. Дождь долбил и хлестал стекла, и, когда я снова попросил прибавить ходу, таксист разозлился и ответил многословной грубостью. Беспомощный, и онемелый, я обмяк на своем сиденье. Проплыла размазня освещенных окон... Может быть, мне вообще не добраться до Себастьяна? Если я и попаду в Сен-Дамье, застану ли его в живых? Несколько раз нас обгоняли другие машины, и я обратил на это внимание моего водителя. Он не ответил, но вдруг остановился и яростным движением распахнул свою дурацкую карту. Уж не снова ли он сбился с пути, – поинтересовался я. Он промолчал, но выражение его толстого загривка стало зловещим. Мы снова тронулись, и я заметил не без удовольствия, что мы движемся гораздо быстрее. Мы проехали под железнодорожным

мостом и подрулили к какой-то станции. Покуда я соображал, не Сен-Дамье ли это, водитель выпрыгнул со своего места и рывком распахнул мою дверь.

— Ну? — спросил я. — А теперь в чем дело?

— Вы все-таки поедете поездом, — сказал таксист. — Я ради вас не собираюсь гробить свою машину. Это ветка на Сен-Дамье, и вам еще повезло, что вы сюда добрались.

Мне повезло больше, чем он думал, — поезд подошел через несколько минут. Станционный смотритель заверил, что к девяти я буду в Сен-Дамье. Эта последняя часть моего пути была самой мрачной. Я был один в купе, и тут на меня напал непонятный столбняк: несмотря на все свое нетерпение, я ужасно боялся задремать и проехать станцию. Поезд часто останавливался, и я всякий раз покрывался испариной, пытаюсь найти и разобрать название платформы. В какой-то миг я испытал ужасное чувство, будто проспал невесть сколько и вот внезапно разбужен каким-то толчком. Взглянул на часы — четверть десятого. Проехал? Я готов был уже сорвать стоп-кран, но, ощутив, что поезд замедляет ход, выглянул в окно и увидел, как проплыла мимо и замерла освещенная надпись: «Сен-Дамье».

Четверть часа плутаний темными тропами и, судя по шуму ветвей, сосновым лесом, вывели меня к больнице Сен-Дамье. За дверьми зашаркали, засопели, и тучный старик в заношенных войлочных шлепанцах и плотном сером свитере вместо униформы впустил меня внутрь. Я попал в контору, едва освещенную голой электрической лампочкой в пыльном полукоконе. Старик, часто мигая, воззрился на меня; его оплывшее лицо противно лоснилось со сна. Не знаю почему, я начал шепотом:

— Я приехал повидать мосье Себастьяна Найта. Найт.

Что-то забурчав, он тяжело опустился за письменный стол — лампочка оказалась прямо над его головой.

— Поздновато для посещений, — пробормотал он себе под нос.

— Мне телеграфировали, — сказал я, — что мой брат очень болен. — Произнося это, я заметил, как пытаюсь этими словами устранить всякое сомнение, что Себастьян жив.

— Какую вы называли фамилию? — спросил он со вздохом.

— Найт, — сказал я. — Это английская фамилия, она пишется не так, как произносится: K, n, i, g, h, t.

— Все иностранные фамилии надо заменять номерами, — проворчал служитель. — Было бы куда проще. Тут прошлой ночью умер один больной... как его...

Меня пронзила ужасная мысль, что речь идет о Себастьяне. Значит, не успел?

– Вы что, хотите сказать... – начал я, но он покачал головой и перевернул несколько страниц грессбуха.

– Нет, – рявкнул он, – английский мосье не умирал, К... К... К...

– Потом «п» – начал я. – К, п, i, g...

– C'est bon, c'est bon, [54] – перебил он, – К, п, К, g... п... Я, извольте видеть, не идиот. Номер тридцать шесть.

Он нажал кнопку звонка и с зевком откинулся на стуле. Я мерял шагами комнату, одолевая неподвластную мне дрожь. Наконец вошла сестра милосердия, и ночной страж указал ей на меня со словами:

– Тридцать шестая.

Следуя за сестрой сперва белым коридором, потом коротким лестничным маршем, я не удержался от вопроса: «Как он?»

– Я не знаю, – отозвалась она, подводя меня к другой сестре, читавшей книгу за маленьким столиком в конце второго белого коридора, который был точным подобием первого.

– Посетитель в тридцать шестую, – сказала моя проводница и исчезла.

– Но английский мосье спит, – сказала сестра, круглолицая молодая женщина с очень маленьким и очень блестящим носиком.

– Ему лучше? – спросил я. – Понимаете, я его брат, я получил телеграмму...

– Кажется, ему немного лучше, – сказала сестра с самой очаровательной из улыбок, какую только можно вообразить. – Вчера утром у него был очень-очень серьезный сердечный приступ. Сейчас он спит.

– Знаете, – сказал я, вручая ей десяти- или двадцатифранковую монету, – я приду, конечно, и утром, но мне хотелось бы зайти в палату и немножко возле него побыть.

– Только его нельзя будить, – сказала она с новой улыбкой.

– Что вы, что вы. Посижу минутку рядом, и всё.

– Даже не знаю, – сказала она. – Заглянуть, разумеется, можно, но только очень тихо.

Она подвела меня к тридцать шестой палате. Мы вошли в крошечную комнатку, почти чулан, с диванчиком: внутренняя дверь была приотворена – она легонько ее подтолкнула. Несколько секунд я вглядывался во тьму. Сперва я слышал только стук своего сердца, но потом различил быстрое, еле уловимое дыхание. Я напряг зрение: кровать наполовину загораживало что-то вроде ширмы, но все равно

было слишком темно, чтобы разглядеть Себастьяна.

– Вот, – шепнула сестра, – я оставлю дверь чуть приоткрытой, а вы можете посидеть здесь на диване.

Она зажгла синий ночник и вышла, оставив меня одного. У меня мелькнул дурацкий порыв полезть в карман за портсигаром. Руки мои тряслись, но я был счастлив. Он жив. Он мирно спит. Так это сердце, вот оно что. Совсем как его мать. Ему лучше, есть надежда. Я подыму на ноги кардиологов всего мира, чтобы его спасти. Его присутствие в соседней комнате, легкий звук дыхания вселили в меня чувство надежности и покоя, волшебным образом сняли напряжение. Я сидел, сцепив руки и вслушиваясь, размышляя обо всех этих улетевших годах, о наших кратких редких встречах, и знал, что, как только он сможет меня выслушать, я обязательно ему скажу, что, нравится ему или нет, я теперь буду при нем неотлучно. Мой странный сон, моя вера в то, что брат должен перед смертью поделиться со мной какой-то важной истиной, – все это сразу отступило в область неопределенного и умозрительного, будто потонуло в теплом потоке более человеческого, без затей, чувства, в волне любви, которую я испытывал к спящему за полуоткрытой дверью. Как мы сумели настолько отдалиться? Почему я всегда был так глуп, стеснителен и замкнут вовремя наших мимолетных парижских свиданий? Сейчас я уйду и скоротаю ночь в гостинице, а может, комната для меня найдется прямо в больнице, пока я смогу его увидеть... На миг мне показалось, что слабый ритм дыхания замер; спящий проснулся и, прежде чем соскользнуть обратно в сон, издал чуть слышный чмокающий звук. Дыхание возобновилось, но так тихо, что, сидя и вслушиваясь, я едва мог отличить его от собственного. О, я поведаю ему бесконечно много – о «Граненой оправе», «Успехе», «Потешной горе», об «Альбиносах в черном», «Обратной стороне луны», о «Столе находок» и о «Сомнительном асфоделе», – ведь все эти книги я знаю так, будто написал их сам. А он выскажется в ответ. Как мало я знаю его жизнь! Но сейчас с каждым мигмом что-то для меня прояснялось. Эта чуть приоткрытая дверь обеспечивала нам наилучшую мысленную связь. Это кроткое дыхание рассказало мне о нем больше, чем все, что я знал прежде. Если бы я мог еще и закурить, счастье мое было бы полным. Я слегка изменил позу, в диване застонала пружина, и я испугался, что потревожил его сон. Но нет, тихий звук не нарушился, – следуя неверной колеей, то проваливаясь в пустоту, то опять выныривая, он, казалось, крался окраинами времени, стоически пробираясь через ландшафт, образуемый символами тишины – темнотой, портьерами, источником голубого света у моего локтя.

Наконец я встал и на цыпочках вышел в коридор.

– Я боялась, – сказала медсестра, – что вы его разбудите. Ему нужен сон.

– Скажите, – спросил я, – когда придет доктор Старов?

– Как вы сказали? – переспросила она. – А, русский доктор. Non, c'est le docteur Guinet qui le soigne. [55] Он будет завтра утром.

– Видите ли, – сказал я, – мне бы хотелось тут где-нибудь остаться

на ночь. Как вы думаете...

— С доктором Гинэ вы можете поговорить и сейчас, — продолжала сестра спокойным, приятным голосом. — Он живет рядом. Так вы, значит, брат? А завтра еще мать приедет из Англии, *n'est-ce pas*? [56]

— Ах нет, — сказал я. — Мать его давно умерла. А скажите мне, как он днем — говорить может? Очень мучается?

Она нахмурилась и как-то странно на меня посмотрела.

— Но ведь... — проговорила она. — Что-то не соображу... Будьте добры, как ваша фамилия?

— Понимаю, — сказал я. — Я ведь не объяснил. Мы сводные братья. Моя фамилия (я назвался).

— О-ля-ля! — воскликнула она, сильно покраснев. — *Mon dieux*! [57]
Русский господин вчера умер, а вы заходили к мосье Кигану...

Итак, я не увидел Себастьяна — по крайней мере живым. Но те несколько минут, что я провел, вслушиваясь, как мне казалось, в его дыхание, переменили мою жизнь столь же решительно, как если бы Себастьян успел поговорить со мной перед смертью. В чем бы ни состояла его тайна, одну тайну усвоил и я, а именно: что душа — всего лишь способ бытия, а не какое-то неизменное состояние, что всякая душа станет твоей, если уловить ее биение и следовать за ним. Посмертное существование — это, может быть, наша полная свобода осознанно поселяться в любой душе по выбору, в любом числе душ, — и ни одна из них не заподозрит об этом попеременном бремени. Вот почему Себастьян Найт — это я. У меня такое чувство, будто я воплощаю его на освещенной сцене, а люди, которых он знал, приходят и уходят; нечеткие фигуры его немногих друзей — ученого, поэта, живописца — легко и беззвучно отдают свою почтительную дань; там — Гудмэн, плоскостопый фигляр со свисающей из жилета манишкой; вот — бледная аура над склоненной головой Клэр, ее, плачущую, уводит участливая дева. Они движутся вокруг Себастьяна — вокруг меня, играющего его роль; в кулисах, припрятав кролика, дожидается выхода старый фокусник, а Нина, освещенная ярче всех, та сидит на столе под нарисованной пальмой, держа фужер фуксином подкрашенной воды. И вот маскарад подходит к концу. Маленький лысый суфлер захлопывает свою книгу, медленно гаснут огни. Конец, конец. Все они возвращаются к обычной жизни (а Клэр в свою могилу), но герой остается, ибо мне не выйти из роли, нечего и стараться: маска Себастьяна приросла к моему лицу, сходство несмываемо. Себастьян — это я, или я — это Себастьян, а то, глядишь, мы оба — суть кто-то, не известный ни ему, ни мне.

Примечания

1

«Фиалки» (фр.).

2

биографический роман (фр.).

3

Эта ужасная англичанка (фр.).

4

Эта чудесная женщина (фр.).

5

(мадемуа)зель (фр.).

6

совсем легкий шлепок (фр.).

7

Безжалостная красавица (фр.).

8

«Смерть Артура» (фр.).

9

«Обретенное время» (фр.).

10

Bons-bons – конфеты (фр.).

11

мировая скорбь (нем.).

12

позер, любитель порисоваться (фр.).

13

У нас много было красивых дам (фр.).

14

удостоверение на право работы (фр.).

15

светской кокетки (фр.).

16

Ну да, она самая что ни на есть русская (фр.).

17

Какая странная история! (фр.).

18

Разумеется (фр.).

19

Она сводит людей с ума (фр.).

20

Это я (фр.).

21

Иди, голубчик, иди (фр.).

22

у меня для вас есть маленький сюрприз (фр.).

23

что в пределах возможного вам хотелось бы к чаю (фр.).

24

вне сравнения (фр.).

25

Женское сердце не воскресает (фр.).

26

Нет, полюбуйтесь! (фр.)

27

милый друг? (фр.)

28

Ах нет, увольте, я же не записная книжка моей подруги. Как вы думаете? (фр.)

29

очень живая (фр.).

30

неожиданно (фр.).

31

молодыми любителями повеселиться (фр.).

32

веселой жизнерадостностью, которая, впрочем, вполне уживается с врожденным философским чувством, как бы религиозным восприятием явлений жизни (фр.).

33

Роковая женщина? (фр.)

34

Ну что, согласны? (фр.)

35

Рад с вами познакомиться (фр.).

36

Я очень огорчен (фр.).

37

Друг мой (фр.).

38

Послушайте (фр.).

39

Знаете, это невежливо (фр.).

40

господин Упрямец (фр.).

41

навязчивой идеей (фр.).

42

вы, должно быть, умираете от голода (фр.).

43

Там, наверное, дикая скучища, не так ли? (фр.)

44

Тем лучше (фр.).

45

вы странный человек, милостивый государь (фр.).

46

Вы не очень-то любезны (фр.).

47

Что это у меня на шее? (фр.)

48

Вы с ума сошли! (фр.)

49

Состояние безнадежно (фр.)

50

Есть опасность... (фр., ит.)

51

кожи, кожаные изделия (фр.).

52

цирковой артист, комик (фр.).

53

Да здравствует народный фронт! (фр.)

54

Ладно, ладно (фр.).

55

Нет, ведь это пациент доктора Гинэ (фр.).

56

правильно? (фр.)

57

Боже мой! (фр.)

Комментарии

1

Фамилия и имя главного героя, вынесенные в заглавие книги, требуют некоторых пояснений. Английское Knight имеет два основных значения: «рыцарь» и «шахматный конь», которые неоднократно обыгрываются в тексте. Немаловажно также, что оно омофонично существительному night – «ночь», графически полностью в нем заключенному. Кроме того, для понимания романа существенны его частичные анаграммы – русское

книг(а) и английское King (король), которые актуализированы в последней главе, где герой называет первые четыре буквы своей фамилии, а затем по ошибке проводит ночь у постели некоего Кигана (полная анаграмма русского «книга»). Отметим в этой связи, что фамилии различных действующих лиц соотносятся с названиями всех шахматных фигур (см. вступительную статью, с. 6), за исключением короля: главная фигура спрятана, и задача внимательного читателя – ее разыскать.

Имя Себастьян в контексте романа должно вызывать ассоциации не только с католическим святым мучеником, но и с двумя шекспировскими персонажами: в «Двенадцатой ночи» его носит считающийся погибшим брат Виолы (ср. В. – криптоним повествователя), похожий на нее как две капли воды; в «Буре» – брат короля, претендующий на его корону.

2

...эту оологическую аллитерацию. – Оология – раздел орнитологии, изучающий птичьи яйца. Как отметили Г. Левинтон и И. Паперно, эта аллюзия указывает не только на троекратное повторение начального «О» в имени, отчестве и фамилии (кстати, птичьей) Ольги Олеговны Орловой, но и на начало повествования «ab ovo» (букв.: «от яйца»; ср. Орлова), в русской литературной традиции соотносящееся с «Езерским» Пушкина. Кроме того, она отсылает и к русской истории, поскольку Олег и Ольга следовали друг за другом на киевском престоле, а род Орловых играл значительную роль в XVIII в. Тогда описание дневника Орловой может быть понято как намек на русские летописи, которые, как известно, тоже начинались «ab ovo» (см.: A Soviet Review of J. Lokranz.// Russian Literature Triquarterly, № 14, 1977).

3

Южный Кенсингтон – аристократический район Лондона.

4

«Чамз» (англ. устар.) – школьные друзья, приятели, товарищи.

5

...вместо подписи... стоял шахматный конь... – См. коммент. №1

...совсем другой Рокбрюн... – Действительно, на Французской Ривьере есть два городка с таким названием: Рокбрюн-Кап-Мартен (департамент Приморские Альпы) и Рокбрюн-сюр-Аржан (департамент Вар).

...холмы, что запомнились голубыми, и благословенные дороги... – Цитаты из стихов английского поэта Алфреда Хаусмена (см. коммент. к с. 64), вошедшие в его сборник «Парень из Шропшира» под № 40.

...живую изгородь, в которую вплелась неофициальная роза... – Реминисценция стихотворения английского поэта Руперта Брука (1887–1915) «Старый дом приходского священника. Гранчестер» (1912). Набоков, в молодости увлекавшийся Бруком, посвятил ему большое эссе, куда включил целый ряд поэтических и прозаических переводов его стихов. В финале этого эссе он упоминает как раз стихотворение о Гранчестере и цитирует ставшее крылатым выражение «неофициальная роза»:

«И Руперт Брук, говоря о своей любви к земле, втайне подразумевает одну лишь Англию, и даже не всю Англию, а только городок Гранчестер, – волшебный городок. Сидя в берлинском Кафэ-дес-Вестенс, Брук, в душный летний день, с упоением вспоминает о той мгlisto-зеленой, тенисто-студеной реке, которая протекает мимо Гранчестера. И говорит он о ней точь-в-точь в таких же выражениях, как говорил о благоуханной гавайской лагуне, ибо лагуна эта была в сущности все та же родная, узкая речка, окаймленная ивами и живыми изгородями, из которых там и сям выглядывает «неофициальная роза». В непереводаемых журчащих стихах он заставляет сотню призрачных викариев плясать при луне на полях; фавны украдкой высовываются из листвы; выплывает наяда, увенчанная тиной; тихо свирелит Пан»

(Грани, 1922, № 1. С. 230).

...чудо словесной трансфузии: «La Belle Dame Sans Merci» Китса. – Весьма слабый перевод этого стихотворения («Ах, что мучит тебя, горемыка...»), выполненный Набоковым, вошел в его ранний стихотворный сборник «Горный путь» (Берлин, 1923. С. 165–166).

10

...злонамеренный китаец... и спокойный здоровяк... – По-видимому, намек на популярные приключенческие романы английского писателя Сакса Ромера (псевдоним Артура Сарсфилда Уорда; 1886–1959), в которых главному герою – невозмутимому британскому джентльмену неизменно противостоит злодей китаец Фу Манчу.

11

...вязов (а не дубов, как обещало название улицы). – По-английски «Оук» (Oak) значит «дуб».

12

Бишоп. – Эта фамилия так же шахматно окрашена, как и фамилия Найт: англ. Bishop – «епископ» и «шахматный слон».

13

...словно кот с девятью... – Здесь подразумевается английская пословица «A cat has nine lives» («У кошки девять жизней») в значении «Все живое цепляется за жизнь» (ср. «живуч как кошка»).

14

...снимок оголенного по пояс китайца, подвергаемого энергичному обезглавливанию... – Вероятно, речь идет о сенсационной документальной фотографии «Отсечение головы в Бангкоке, столице Сиам», обошедшей в двадцатые годы многие иллюстрированные издания мира (см., например; ИКС. Иллюстрации к «Сегодня». Еженедельник. Рига, 1923, № 1. С. 17). Тот же снимок, запечатлевший самый момент обезглавливания, упомянут в автобиографической книге Набокова «Другие берега» (гл. 13).

...названия складываются в неотчетливую... музыкальную фразу... – Список книг Себастьяна Найта не просто характеризует круг чтения героя, но и представляет собой (подобно списку класса в «Лолите») своего рода словарь основных тем, мотивов и источников романа; фактически в каждом наименовании (и/или в стоящем за ним тексте, а также творческой биографии автора) можно обнаружить определенную параллель к структуре, системе образов и значений, сюжету «Истинной жизни Себастьяна Найта». Так, само многоязычие списка (равно как и включение в него «Англо–персидского словаря»; ср., кстати, уподобление Нины Речной персидской принцессе) указывает на важную для романа тему двух языков и перехода с одного из них на другой; как и роман, он строится на значимых «музыкальных» повторах, которые прослеживаются на нескольких уровнях: фонетическом (Артур – Автор, Алиса – Улисс), лексическом (два короля в названии трагедии Шекспира и романа американского писателя Торнтона Уайлдера, 1897–1975; две «дамы»: в рассказе Чехова и в романе Флобера) и тематическом (супружеская измена в «Даме с собачкой» и «Мадам Бовари», гибель короля в «Смерти Артура» – романе о рыцарях Круглого Стола английского писателя XV в. Томаса Мэлори, и в «Гамлете», соперничество братьев в «Гамлете» и в романе «Мост короля Людовика Святого», странствие в иной мир в сказке Л. Кэрролла и в мифе об Улиссе, отсутствие/изменение телесной оболочки в «Человеке–невидимке» Г. Уэллса и в повести Р. Л. Стивенсона «Странное происшествие с доктором Джекилом и мистером Хайдом»). Напротив, тематически контрастную пару составляют романы двух писателей, известных одним и тем же отклонением от сексуальной нормы, – «Южный ветер» (1917) англичанина Нормана Дугласа (1868–1952), действие которого происходит на острове Забвения, и «Обретенное время», последняя книга цикла «В поисках утраченного времени» М. Пруста, где, по словам Набокова, «протянут мост между прошедшим и настоящим» (отметим, что в своих лекциях Набоков называл мировидение Пруста «призматическим» – ср. название первой книги Найта).

Если на одном полюсе списка, начинающегося и заканчивающегося трагедией Шекспира, – прославленные шедевры мировой литературы, то другой занимают две совершенно забытые книги: сборник повестей и фельетонов английского писателя–юмориста, редактора знаменитого юмористического журнала «Панч» Фрэнсиса Коули Берненда (1836–1917) «О покупке лошадей и прочем, и прочем» (1875), входящий в цикл «Счастливые мысли по случаю», и комический роман «Автор „Трикси“» (1924) плодовитого английского беллетриста Уильяма Кейна (1873–1925), одного из постоянных поставщиков «легкого чтения» на книжный рынок 1910–х годов. При желании упоминание об этих книгах может быть связано с шахматными мотивами романа: английское «horse», переведенное на русский, дает нам «коня», а «Автор „Трикси“», открывающийся сентенцией, произнесенной епископом (то есть «слоном» – см. коммент. к с. 31), завершается его смертью и возведением в епископский сан главного героя (заметим, кстати, что о названиях

шахматных фигур, кроме того, напоминают короли и дамы (фр. Dame – ферзь) списка, а косвенно еще и «рыцари-кони» «Смерти Артура»). Однако вряд ли Набоков имел в виду подобную игру, ибо для включения в «музыкальную фразу» произведений Берненда и Кейна у него были более веские основания. Оба они относятся к «низшим», смеховым литературным жанрам (ср. жаргонное значение слова «horse» – шутка), которые играют столь большую роль в поэтике как Себастьяна Найта, так и Набокова (ср., например, повторяющиеся в романе сравнения художественного творчества с цирковым представлением, фокусом, клоунадой, чревовещанием, восходящие к цирковым юморескам Берненда, или чрезвычайно характерное суждение Найта о том, что для него гармония есть соединение рисунка в «Панче» с витиеватой фразой из «Гамлета»); в обоих на первый план выходит проблема построения шутовской повествовательной маски, которая столь важна для Набокова; более того, сам сюжет «Автора „Трикси“» является ключом к сложной набоковской игре с ролями главного героя, повествователя и «истинного» автора текста.

Набоков переосмысляет и «переводит» на язык другого жанра анекдотическую, откровенно водевильную фабульную схему романа Кейна, герой которого – добропорядочный священник и ученый-теолог, кандидат в епископы, – неожиданно для самого себя тайком сочиняет бульварный роман. Чтобы не повредить своей безупречной репутации, он не рискует опубликовать под своим именем опус, названный женским именем Трикси (сокращение от Беатрис; обыгрывается также его созвучие с tricks – трюки, фокусы, ловкие приемы, обманы), и использует в качестве подставного лица жениха (позже – мужа) своей дочери. Роман имеет бешеный успех, и его честолюбивый тайный автор начинает завидовать славе, выпавшей на долю его «заместителя», и требовать от него раскрытия тайны, но тот уже вошел в роль популярного писателя и отнюдь не желает разоблачения. После всяческих смешных и нелепых недоразумений вопрос об «авторе „Трикси“» попадает на рассмотрение литературного комитета, среди членов которого появляется и сэр Уильям Кейн, то есть «истинный» романист (он, правда, изменил написание своей фамилии: Кеупе вместо Caine и присвоил себе дворянский титул). Дело кончается ко всеобщему удовлетворению: священник становится епископом, его зять остается знаменитым беллетристом, и автор завершает повествование почти набоковскими фразами: «Ну что, отпустим их (героев) восвояси? – Отпустим» (ср., например, финал рассказа «Облако, озеро, башня», где автор отпускает на волю своего «представителя»). Фабула Кейна у Набокова спрятана глубоко в текст, замаскирована, трансформирована в тайну самого повествования: лишь в процессе чтения мы постепенно начинаем подозревать, что дилетант В. никакой не биограф Себастьяна Найта, а его маска, «подставное лицо», и наконец в финале вместе с рассказчиком окончательно понимаем, что за обоими братьями все время стоял некто третий, «не известный ни ему, ни мне», и что «истинная жизнь» – это сама книга.

Кроме романа Кейна, на игру с триадой авторов «Истинной жизни Себастьяна Найта» косвенно указывают и некоторые другие названия в списке: «Человек-невидимка» намекает на невидимого третьего, «Смерть Артура» – на смерть Автора (и в прямом, и в переносном смысле), «Алиса в Стране Чудес» – на финал романа, где вокруг В. начинают

кружиться персонажи произведений его брата, подобно тому как в финале сказки Кэрролла вокруг сестры Алисы начинают кружиться персонажи ее волшебного сна, «Доктор Джекил и мистер Хайд» – на раздвоенность–слитность субъекта и объекта повествования.

16

...что тот «конрадообразен»... – Критик упрекает Себастьяна Найта в подражании английскому писателю польского происхождения Джозефу Конраду (наст. имя – Юзеф Теодор Конрад Коженевский; 1857–1924). Далее в оригинале следует непереводаемый каламбур, основанный на семантизации обеих частей прилагательного «conradish» («конрадообразный»), – совет начинающему прозаику leaving out the «con» and cultivating the «radish» in future works, то есть буквально «забыть про капитанскую рубку» (намек на профессию Конрада, который был капитаном английского торгового флота) и «в будущих произведениях заняться выращиванием редиса». Однако многозначность слов «con» (его другие значения: учиться, много знать; негативно относиться к чему-то; консерватор, консерватизм; обман, фокус; игра слов, каламбур) и «cultivate» (не только «выращивать», но и «развивать, поощрять»), а также возможность переосмыслить «radish» либо как кальку с латинского «radis» (корень, нижняя часть, основание), либо как производное от «rad» (корень; возвышенный, восторженный; радикал, радикальный) оставляют простор для множества истолкований. Рекомендация критика может быть понята как в литературном, так и в политическом и даже эротическом (ср. фр. груб. con – вагина) планах: «меньше консерватизма, больше радикализма», «отбросить ученость (книжность, начитанность) и обратиться к основам (корням, истокам)», «отказаться от шуток (обманов, каламбуров, игр) и заняться земными проблемами» и т. д.

17

...многое в Кембридже пришлось ему по нраву... – Набоков учился в Кембридже – в том же самом колледже Святой Троицы (Тринити), что и Себастьян Найт, – с 1919 по 1922 г. Помимо «Истинной жизни...» студенческие впечатления отразились в его эссе «Кембридж» (1921), «Университетской поэме» (1927) и романе «Подвиг» (1931–1932), а также в автобиографической книге «Другие берега» (1954) и ее английских вариантах (1951, 1967). Многие детали описания жизни Себастьяна Найта в Кембридже имеют аналоги в этих произведениях.

18

Хэнсом–кэб – легкий двухколесный экипаж с кучером, располагающимся

позади и выше кабины для пассажиров (по имени изобретателя Дж. А. Хэнсома; 1803–1882).

19

Большой Двор – обширный четырехугольный двор с фонтаном под каменной беседкой посередине, окруженный основными зданиями колледжа Св. Троицы (Тринити) в Кембридже.

20

...густого или прозрачного? – Речь идет о так называемом «ревизорском пиве» (audit ale) – «фирменном» пиве колледжа, где учился Себастьян.

21

«Файвз» – игра в мяч при двух или четырех участниках на специальных кортах, закрытых с трех сторон стенами для отскока.

22

...икры Генриха Восьмого так и напрашивались на щекотку. – Колледж Св. Троицы в Кембридже был основан в 1546 г. королем Генрихом VIII (1509–1547); поэтому его портреты и скульптурные изображения украшают многие помещения колледжа, и в том числе огромный обеденный зал (Холл).

23

Тьютор (англ.) – индивидуальный наставник студентов в колледжах Оксфордского и Кембриджского университетов.

24

Задворки (the Backs) – живописные сады и лужайки вдоль реки Кем; названы так, поскольку находятся «на задах» кембриджских колледжей.

25

Мастер – титул главы некоторых колледжей в Кембридже.

26

...прустианские скобки... – Имеется в виду характерный для стиля М. Пруста длинный период с многочисленными уточнениями и отступлениями в скобках. Эта аллюзия отсылает нас к списку книг Себастьяна Найта, литературно-шахматные отголоски которого пронизывают в дальнейшем весь текст. Так, уже в этом письме метафоры «башня моей прозы» и «аллюр коня» напоминают, соответственно, о Флобере с его «башней из слоновой кости» и о книге «О покупке лошади», а также о двух шахматных фигурах – «туре» (фр. башня) и «коне».

27

Мария Корелли (1855–1924) – английская беллетристка, автор многочисленных мелодраматических и назидательных романов, пользовавшихся успехом у самых невзыскательных читателей и особенно читательниц. В «Других берегах» Набоков вспоминает, как одна из его английских гувернанток, «ужасная старуха», читала ему вслух «повесть Марии Корелли «Могучий Атом» о том, что случилось с хорошим мальчиком, из которого нехорошие родители хотели сделать безбожника».

28

...племянники старой миссис Гранди. – Ставшая крылатой фраза «Что скажет миссис Гранди?» из комедии Томаса Мортон (1764–1838) «Подталкивай плуг» (1798) по смыслу аналогична восклицанию в финале «Горе от ума»: «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!» Сама миссис Гранди в пьесе так ни разу и не появляется на сцене, но, судя по репликам других персонажей, является высшим авторитетом по части ханжеской морали в глазах своих соседей.

29

...лицо г-на Гудмэна обладало сходством с коровьим выменем. —
Реминисценция строк из «Заблудившегося трамвая» Гумилева: «В красной рубашке, с лицом, как вымя,/ Голову срезал палач и мне»...

30

Годфри Гудмэн (1583–1656) — епископ англиканской церкви, тайно перешедший в католичество.

31

Сэмюел Гудрич (1793–1860) — американский писатель, редактор альманаха «Тоукен», автор многочисленных назидательных сочинений для детей, опубликованных под псевдонимом Питер Парли. Его пространные «Воспоминания» (1856) не отличаются особой достоверностью.

32

Босуэлл Джеймс (1740–1795) — автор биографии английского писателя, критика и филолога Сэмюела Джонсона (1709–1784), основанной на дневниковых записях за многие годы, в течение которых он тщательно фиксировал все высказывания своего близкого друга и вел хронику его жизни. Биография стала классической, а имя Босуэлла — нарицательным для образцового биографа.

33

...монах в черной рясе... рассказ Чехова. — Конечно же, имеется в виду «Черный монах» (1894). Отметим, что по-английски он был напечатан в сборнике «Дама с собачкой и другие рассказы» и, таким образом, тоже связан со списком книг Себастьяна Найта.

34

Джагернаут — в индийской мифологии одно из воплощений Вишну. Обычно этим именем называют статую божества в храме священного города Пури, которую ежегодно во время празднеств вывозят на огромной колеснице. В Европе широкое распространение получила легенда о том, что фанатики-паломники бросаются под колеса этой колесницы и гибнут,

«раздавленные Джагернаutom». Отсюда – использование этого образа как клише в англо–американской журналистике (Джагернаут войны, Джагернаут империализма и т. п.).

35

...у меня бывали киплингские настроения, бруковские настроения, хаусмановские настроения. – Набоков передает Себастьяну Найту свои юношеские привязанности к трем из ведущих английских поэтов 1890–1910-х годов – Р. Киплингу (любопытно, что в эссе о Бруке он цитировал хрестоматийные строки из киплингского «Сассекса» о любви к «родному уголку»), Р. Бруку (см. коммент. к с. 33) и Алфреду Эдуарду Хаусмену (1859–1936), автору сборника «Парень из Шропшира» (1896), оказавшего большое влияние на английскую поэзию. О встречах с Хаусменом – профессором Кембриджского университета – в обеденном зале колледжа и о его книге стихов Набоков вспоминает в английском варианте своей автобиографии «Память, говори»; там же он признает, что стихи английских поэтов–«георгианцев» (к которым обычно относят в первую очередь Р. Брука и А. Хаусмена) прямо воздействовали на его раннюю поэзию, «бегая по нему и по его комнате в Кембридже как ручные мыши».

36

Хэрродс – один из самых крупных и дорогих универмагов Лондона.

37

Нью–Форест – живописный лесистый район на юге Англии, охотничьи угодья королевской семьи; по описанию путеводителей, «рай для энтомологов».

38

«Дрозд дает сдачи» – в этом названии («Cock Robin Hits Back») содержится понятная любому англичанину отсылка к детскому стишку «Кто убил дрозда?» («Who Killed Cock Robin»), входящему в сборник «Стихи Матушки Гусыни». Если убитого дрозда в стишке закапывают в землю, то убитый герой в романе Себастьяна Найта неожиданно восстает из мертвых, предсказывая тем самым судьбу своего автора.

Кью–Гарденз – ботанический сад в Лондоне.

Ричмонд–парк – огромный парк на юго–западной окраине Лондона.

Донн Джон (1572–1631) – английский поэт так называемой «метафизической школы». Интерес к его усложненной метафорической поэзии значительно возрос в 1920–е годы.

...суть его в том, чтобы собрать разношерстную публику на небольшом пространстве... – Наибольшую известность из ряда английских романов, в которых эксплуатировался этот «модный фокус», получили вошедший в список книг Найта «Южный ветер» Н. Дугласа (см. коммент. к с. 44) и «Желтый Кром» О. Хаксли.

Персиваль – Имя героя отсылает к легендам артуровского цикла, и в частности к «Смерти Артура», где сэр Персиваль, сын короля Пелинора, – один из трех рыцарей, нашедших после долгих странствий Святой Грааль. По своей структуре «Успех» Найта близок к «Мосту короля Людовика Святого» Т. Уайлдера (см. коммент. к с. 44), который строится как ретроспективное исследование судеб нескольких людей, случайно погибших в одной катастрофе.

...словно соглядатай за шпалерой... – Аллюзия на сцену убийства Полония в «Гамлете» – он подслушивает разговор, прячась за ковром, и Гамлет протыкает его шпагой (акт III, сц. IV).

...тоном гусеницы из «Алисы в стране чудес». – Очередная отсылка к книге из библиотеки Себастьяна Найта (см. коммент. к с. 44). В

соответствующей сцене сказки Кэрролла есть очевидные параллели к разговору В. с управляющим гостиницей.

45

...руки и ноги мученика даны контуром, в боку торчат стрелы... – Намек на канон живописных изображений тезки героя – Святого Себастьяна, тело которого на многочисленных картинах обычно пронзают стрелы.

46

Элен фон Граун. – Набоков использует здесь фамилию своих немецких предков по линии прадеда с отцовской стороны, барона Фердинанда Николауса Виктора фон Корфа (1805–1869), генерала на русской службе, который, в свою очередь, был правнуком известного композитора – Карла Генриха Грауна (1701–1759), автора многих опер и других музыкальных сочинений.

47

Картина опять меняется, как в Байроновом сне. – Аллюзия на стихотворение Байрона «Сон» (1816), имеющее автобиографический характер – поэт вспоминает свою несчастливую юношескую любовь к Мэри Энн Чаворт и ее дальнейшую трагическую судьбу. Каждый новый эпизод стихотворения открывается фразой: «Во сне моем настала перемена».

48

...шедевре Боттэна... – «Боттэн» – название ряда французских справочных изданий.

49

...усы знаменитого генерала, лет пять назад оприходованного Москвой. – Имеется в виду Александр Павлович Кутепов (1882–1930), генерал белой армии, видный деятель монархистской партии в эмиграции, с 1928 г. председатель офицерской организации «Российский общевоинский союз» (РОВС). В январе 1930 г. был похищен в Париже агентами ГПУ, вывезен за город и убит. Как раз в то время, когда Набоков работал над «Истинной жизнью...», в парижском суде слушалось громкое дело певицы Надежды Плевицкой, причастной к аналогичному похищению преемника Кутепова на посту председателя РОВСа, генерала Е. К. Миллера, организованному ее мужем, генералом Скоблиным, агентом ГПУ – НКВД. Впоследствии Набоков написал рассказ «Помощник режиссера», в

котором сюжет основан на этой шпионской истории.

50

Мата Хари (наст. имя: Маргерита Гертруда Зелле; 1876–1917) – голландская танцовщица, международная авантюристка и шпионка, во время I мировой войны – агент немецкой разведки. Была казнена за шпионаж.

51

...этим пусть Анатоль занимается... – Речь идет об Анатоле Деблере (ум. 1939), с 1899 г. до смерти исполнявшем обязанности «национального палача» Франции. Он принадлежал к единственной в своем роде профессиональной палаческой династии.

52

...пункт насчет Лхасы... – Лхаса – столица Тибета и центр буддизма – считалась на Западе «запретным городом», куда открыт доступ лишь адептам эзотерических учений.

53

Мунте Аксель Мартин Фредрик (1857–1949) – шведский врач и писатель, автор нашумевшей «Легенды о Сан-Микеле» (1929), романтически приподнятой, сентиментальной автобиографии.

54

Асфодель – растение семейства лилейных с белыми цветами. Согласно «Одиссее» Гомера, в Аиде – царстве мертвых – тени умерших блуждают по асфоделевому лугу.

55

Жуан – Жуан-ле-Пен – курортный город на Французской Ривьере, между Каннами и Антибом.

56

Дацзяньлу (Кандин) – город, который называли «великой развилкой Тибета», ибо здесь расходятся два древних торговых пути. Упоминается во второй главе «Дара» среди тех мест, которые посетил отец Федора Годунова–Чердынцева, главного героя романа.

57

...преподобный Парк... – вероятно, мистификация, подобная упомянутому в «Даре» сочинению «Путешествие духа» некоего Паркера.

58

...одно или два нечитаемых слова: что-то вроде «Дот чету»? – Герой не распознал в русском тексте букв латинского алфавита. «Дот чету» – это Domremy, Домреми-ля-Пюсель, родная деревня Жанны д'Арк, где она в юности стала слышать голоса святых.